

Николай Лесков

Некуда



Николай Лесков

Некуда

«Public Domain»

1864

Лесков Н. С.

Некуда / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1864

С января 1864 начал печататься роман Лескова «Некуда», окончательно подорвавший репутацию писателя в левых кругах. Современники восприняли роман как клевету на «молодое поколение», хотя, помимо «шалых шавок» нигилизма, писатель нарисовал и искренно преданных социализму молодых людей, поставив их в ряду лучших героев романа (в основном сторонников постепенного реформирования страны). Главная мысль Лескова — бесперспективность революции в России и опасность неоправданных социальных жертв — провоцировала неприятие романа в 1860-е гг. Лесков был объявлен «шпионом», написавшим «Некуда» по заказу III Отделения. Столь бурная реакция объяснялась и откровенной памфлетностью романа: Лесков нарисовал узнаваемые карикатуры на известных литераторов и революционеров. Тем не менее, теперь, при сравнении «Некуда» с позднейшими противонигилистическими романами как самого Лескова, так и других писателей, трудно понять размеры негодования, вызванного им. «Некуда» — произведение не исключительно «ретроградное». Один из главных героев — Райнер, — открыто называющий себя социалистом, ведущий политическую агитацию и погибающий в качестве начальника польского повстанческого отряда, не только не подвергается авторскому порицанию, но окружён ореолом благородства. Тем же ореолом «истинного» стремления к новым основам жизни, в отличие от напускного демократизма Белоярцевых и К°, окружена и героиня романа — Лиза Бахарева. В лице другого излюбленного героя своего, доктора Розанова, Лесков выводит нечто в роде либерального здравомыслия, ненавидящего крайности, но стоящего за все, что есть хорошего в новых требованиях, до гражданского брака включительно. Наконец, общим смыслом и заглавием романа автор выразил мысль очень пессимистическую и мало благоприятную движению 60-х годов, но, вместе с тем, и вполне отрицательную по отношению к старому строю жизни: и старое, и новое не годно, люди вроде Райнера и Лизы Бахаревой должны погибнуть, им деваться некуда.

© Лесков Н. С., 1864
© Public Domain, 1864

Содержание

Книга первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	8
Глава третья	10
Глава четвертая	12
Глава пятая	14
Глава шестая	20
Глава седьмая	27
Глава восьмая	30
Глава девятая	36
Глава десятая	43
Глава одиннадцатая	46
Глава двенадцатая	48
Глава тринадцатая	52
Глава четырнадцатая	56
Глава пятнадцатая	60
Глава шестнадцатая	64
Глава семнадцатая	68
Глава восемнадцатая	73
Глава девятнадцатая	78
Глава двадцатая	83
Глава двадцать первая	88
Глава двадцать вторая	97
Глава двадцать третья	103
Глава двадцать четвертая	107
Глава двадцать пятая	111
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Николай Лесков

Некуда

Книга первая В провинции

Глава первая Тополь да березка

В трактовом селе Отраде, на постоялом дворе, ослоненном со всех сторон покрытыми соломой сараями, было еще совсем темно.

В этой темноте никак нельзя было отличить стоящего здесь господского тарантаса от окружающих его телег тяжелого троечного обоза. А около тарантаса уж ворочается какое-то существо, при этом что-то бурчит себе под нос и о чем-то вздыхает. Существо это кряхтит потому, что оно уже старо и что оно не в силах нынче приподнять на дугу укладистый казанский тарантас с тою же молодецкою удалью, с которою оно поднимало его двадцать лет назад, увозя с своим барином соседнюю барышню. Повертевшись у тарантаса, существо подошло к окошечку постоялой горницы и слегка постучалось в раму. На стук едва слышно отозвался старческий голос, а вслед за тем нижняя половина маленького окошечка приподнялась, и в ней показалась маленькая седая голова с сбившеюся на сторону повязкой.

- Что, Никитушка? – спросила старушка.
- Пора, Марина Абрамовна.
- Пора?
- Да холодком-то полегче отъедем.
- Ну, пора так пора.
- Буди барышень-то. Я уж подмазал, закладать стану.

Никитушка опять пошел к тарантасу, разобрал лежавший на козлах пук вожжей и исчез под темным сараем, где пофыркивали отдохнувшие лошадки.

Через полчаса тарантас, запряженный тройкою рослых барских лошадей, стоял у утлого крыльчика. В горнице было по-прежнему темно, и на крыльце никто не показывался. Никитушка нередко позевывал, покрещивал рот и с привычною кучерскою терпеливостью смотрел на троечников, засуетившихся около своих возов. Наконец на высоком пороге показалась стройная девушка, покрытая большим шейным платком, который плотно охватывал ее молодую головку, перекрещивался на свежей груди и крепким узлом был завязан сзади. В руках у девушки был дорожный мешок и две подушки в ситцевых наволочках.

- Здравствуй, Никита, – приветливо сказала девушка, пронося в дверь свою ношу.
- Здравствуйте, барышня, – отвечал седой Никитушка. – Что это вы сами-то таскаете?
- Да так, это ведь легкое.
- Дайте, матушка, я уложу.

И Никитушка, соскочив с козел, принял из рук барышни дорожный мешок и подушки.

– Какое утро хорошее! – проговорила девушка, глядя на покрывшееся бледным утренним светом небо и загораживая ручкою зевающий ротик.

- День, матушка Евгения Петровна, жаркий будет! Оводе проклятое доймает совсем.
- То-то ты нас и поднял так рано.

– Да как же, матушка! Раз, что жар, а другое дело, последняя станция до губернии-то. Близко, близко, а ведь сорок верст еще. Спознишься выехать, будет ни два ни полтора. Завтра, вон, люди говорят, Петров день; добрые люди к вечерням пойдут; Агнии Николаевне и сустреть вас некогда будет.

А пока у Никитушки шел этот разговор с Евгенией Петровной, старуха Абрамовна, рассчитавшись с заспанным дворником за самовар, горницу, овес да сено и заткнув за пазуху своего капота замшевый мешочек с деньгами, будила другую девушку, которая не оказывала никакого внимания к словам старухи и продолжала спать сладким сном молодости. Управившись с собою, Марина Абрамовна завязала узелки и корзиночки, а потом одну за другою вытащила из-под головы спящей обе подушки и понесла их к тарантасу.

– Где ж Лиза, няня? – спросила ее Евгения Петровна, оставшаяся все это время на крылечке.

– Где ж, милая? Спит на голой лавке.

– Не встала еще? – спросила с удивлением девушка.

– Да ведь как всегда: не разбудишь ее. Побуди поди, красавица моя, – добавила старуха, размещая по тарантасу подушки и узелки с узелочками.

Красавица ушла с крылечка в горницу, а вслед за нею через несколько минут туда же ушла и Марина Абрамовна. Тарантас был совсем готов: только сесть да ехать. Солнышко выглянуло своим красным глазом; извозчики длинною вереницею потянулись со двора. Никитушка зевнул и как-то невольно крякнул.

– Ну что это, сударыня, глупить-то! Падает, как пьяная, – говорила старуха, поддерживая обворожительно хорошенькое семнадцатилетнее дитя, которое никак не могло разнять слипающихся глазок и шло, опираясь на старуху и на подругу.

– Носи ее, как ребеночка малого, – говорила старуха, закрывая упавшую в тарантас девушку, села сама впереди против барышень под фордеком и крикнула: – С Богом, Никитушка.

Тарантас, выехав со двора, покатился по ровной дороге, обросшей старыми высокими ракетами.

Глава вторая

Кто едет в тарантасе

Мелодическое погромыхивание в тон подобранных бубенчиков и тихая качка тарантаса, потряхивающегося на гибких, пружинистых дрогах, в союзе с ласкающим ветерком раннего утра, навели сон и дрему на всех едущих в тарантасе. То густые потемки, то серый полумрак раннего утра не позволяли нам рассмотреть этого общества, и мы сделаем это теперь, когда единственный неспящий член его, кучер Никитушка, глядя на лошадей, не может заметить нашего присутствия в тарантасе.

Направо, уткнувшись растрепанною, курчавою головкою в мягкую пуховую подушку, спит Лизавета Егоровна Бахарева. Ей семнадцать лет, она очень стройна, но невысока ростом. У ней прелестные, густые каштановые волосы, вьющиеся у лба, как часто бывает у молодых француенок. Овал ее лица несколько кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно пробивающимся сквозь несколько смуглый цвет ее кожи. На висках видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся молодою кровью. Глаз ее теперь нельзя видеть, потому что они закрыты длинными ресницами, но в институте, из которого она возвращается к домашним ларам, всегда говорили, что ни у кого нет таких прелестных глаз, как у Лизы Бахаревой. Все ее личико с несколько вздернутым, так сказать курносим, задорным носиком, дышит умом, подвижностью и энергией, которой читатель мог не заподозрить в ней, глядя, как она поднималась с лавки постоянного двора.

Другую нашу героиню мы уже видели на крылечке. Читатель, конечно, догадался, что эти две девушки – героини моего романа. Глядя на сладко спящую подругу и раскачивающуюся в старческой дреме Абрамовну, Евгения Петровна тоже завела глазки и тихо уснула под усыпляющие звуки бубенцов. Они ровесницы с Лизой Бахаревой, вместе они поступили в один институт, вместе окончили курс и вместе спешат на бессменных лошадях, каждая под свои родные липы. На взгляд Евгения Петровна кажется несколько постарше Бахаревой, но это только так кажется. На самом деле ей тоже восемнадцатый год, что и Лизе. Марина Абрамовна недаром назвала Евгению Петровну красавицей. Она действительно хороша, и если бы художнику нужно было изобразить на полотне известную дочь, кормящую грудью осужденного на смерть отца, то он не нашел бы лучшей натурщицы, как Евгения Петровна Гловацкая. Стан высокий, стройный и роскошный, античная грудь, античные плечи, прелестная ручка, волосы черные, черные как вороново крыло, и кроткие, умные голубые глаза, которые так и смотрели в душу, так и западали в сердце, говоря, что мы на все смотрим и все видим, мы не боимся страстей, но от дерзкого взора они в нас не вспыхнут пожаром. Вообще в ее лице много спокойной решимости и силы, но вместе с тем в ней много и той женственности, которая прежде всего ищет раздела, ласки и сочувствия. Теперь она спит, обняв Лизу, и голова ее, скатившись с подушки, лежит на плечике подруги, которая и перед нею кажется сущим ребенком.

Няне, Марине Абрамовне, пятьдесят лет. Она московская солдатка, давно близкая слуга семьи Бахаревых, с которою не разлучается уже более двадцати лет. О ней говорят, что она с душком, но женщина умная и честная.

Кучер Никитушка лет пять тому назад прожил полстолетия. Когда ему было тридцать лет, он участвовал с Егором Бахаревым в похищении у одного соседнего помещика дочери Ольги Сергеевны, с которою потом его барин сочетался браком в своей полковой церкви, и навсегда забыл услугу, оказанную ему при этом случае Никитушкою. Никитушка ходил с баринном и барынею по походам, выучился готовить гусарское печенье, чистить сапоги и нянчить барышню Лизавету Егоровну, которую он теперь везет домой после долголетнего отсутствия. Своего у Никитушки ничего не было: ни жены, ни детей, ни кола, ни двора, и он сам о себе говорил, что он человек походный. Целый век он изжил таскаючись и только лет с восемь при-

ютился оседло, примостив себе кроватку в одном порожнем стойле господской конюшни. Тут он спал лето и зиму с старой собакой, Розкой, которую щенком украл шутки ради у одного венгерского пана в 1849 году. На барина своего, отставного полковника Егора Николаевича Бахарева, он смотрел глазами солдат прошлого времени, неизвестно за что считал его своим благодетелем и отцом-командиром, разумея, что повиноваться ему не только за страх, но и за совесть сам бог повелевает.

Кругло говоря, и Никитушка и Марина Абрамовна были отживающие типы той старой русской прислуги, которая рабски-снисходительно относилась к своим господам и гордилась своею им преданностью. И тот и другая сочли бы величайшим преступлением, достойным если не смертной казни, то по крайней мере церковной анафемы, если бы они упустили какой-нибудь интерес дома Бахаревых или дома смотрителя уездного училища, Гловацкого. Дружба старика Бахарева со стариком Гловацким, у которого Бахарев нанимал постоянную квартиру, необходимую ему по званию бессменного уездного предводителя дворянства, внушала им священное почтение и к старику Гловацкому, и к его Женичке, подруге и приятельнице Лизы.

Теперь тарантас наш путешествует от Москвы уже шестой день, и ему остается проехать еще верст около ста до уездного города, в котором растут родные липы наших барышень. Но на дороге у них уже близехонько есть перепутье.

Глава третья

Приют безмятежный

Спокойное движение тарантаса по мягкой грунтовой дороге со въезда в Московские ворота губернского города вдруг заменилось несносным подкидыванием экипажа по широко разошедшимся, неровным плитам безобразнейшей мостовой и разбудило разом всех трех женщин. На дворе был одиннадцатый час утра.

– Город? – спросила, проворно вскочив, Лиза Бахарева.

– Город, матушка, город, – отвечала старуха.

– Город! Женни, город, приехали, – щебетала Лизавета Егоровна, толкая уже проснувшуюся Гловацкую.

– Слышу, Лиза, или, лучше сказать, чувствую, – отвечала та, охая от получаемых толчков, но все-таки еще придерживаясь подушки.

– Тоже мостовую зовется, – заметила Лиза.

– И, матушка, все лучше болота, что у нас-то в городе, – проговорила няня.

– Да у нас, няня, разве город?

– А что ж у нас такое, красавица?

– Черт знает что!

– Ну, ты уж хоть у тетеньки-то этого своего черного-то не поминай! Приучили тебя экую гадость вспоминать!

Девушки засмеялись, и Гловацкая, вставши, стала приводить себя в порядок.

Между тем тарантас, прыгая по каменным волнам губернской мостовой, проехал Московскую улицу, Курскую, Кромскую площадь, затем Стрелецкую слободу, снова покатился по мягкому выгону и через полверсты от Курской заставы остановился у стен девичьего монастыря.

Монастырь стоял за городом на совершенно ровном, как скатерть, зеленом выгоне. Он был обнесен со всех сторон красною кирпичною стеною, на которой по углам были выстроены четыре такие же красные кирпичные башенки. Кругом никакого жилища. Только в одной стороне две ветряные мельницы лениво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописного не было в положении этого подгородного монастыря: как-то потерянно смотрел он своими красными башенками, на которые не было сделано даже и всходов. Ничего-таки, ровно ничего в нем не было располагающего ни к мечте, ни к самоуглублению. Это не то, что пустынная обитель, где есть ряд келий, темный проход, часовня у святых ворот с чудотворною иконою и возле ключ воды студеной, – это было скучное, сухое место.

В двух стенах монастыря были сделаны ворота, из которых одни были постоянно заперты, а у других стояла часовенка. В этой часовенке всегда сидела монашка, вязавшая чулок и звонившая колокольчиком, приделанным к кошельку на длинной ручке, когда мимо часовенки брел какой-нибудь прохожий. Возле часовни, в самых темных воротах, постоянно сидел на скамеечке семидесятилетний солдат, у которого еще, впрочем, осталось во рту три зуба. Он тоже обыкновенно вязал шерстяной чулок, взапуски с монашкой, сидевшей в часовне. Каждый вечер они мерялись, кто больше навязал, и монашка говорила: «Я, Арефьич, сегодня больше твоего свезла», или Арефьич объявлял: «Сегодня я, мать, больше тебя свез».

Завидя подъезжавший тарантас, Арефьич вскинул своими старческими глазами, и опять в его руках запрыгали чулочные прутья; но когда лошадиные головы дерзостно просунулись в самые ворота, старик громко спросил:

– Кого надо?

– Своих, своих, – отвечал, не обращая большого внимания на этот оклик, Никитушка.

– Кого своих? – переспросил Арефьич и, отбросив на скамейку чулок, схватил за повод левую пристяжную.

Монашка из часовни выскочила и, позванивая колокольчиком, с недоумением смотрела на происходившую сцену. Из экипажа послышался веселый хохот.

– Что ты! леший! аль тебя высадило? – кричал с козел Никитушка на остановившегося в решительной позе привратника.

– Да так, на то я сторож... на то здесь поставлен... – шамшил беззубый Арефьич, и глаза его разгорались тем особенным огнем, который замечается у солдат, входящих в дикое озлобление при виде гордого, но бессильного врага.

– Чего, черт слепой, не пустишь-то?

– Не пущу, – задыхаясь, но решительно ответил опять Арефьич. – Позови кого тебе надо к воротам, а не езд.

– А, крупа поганая, что ты, не видишь?..

– Да чьи такие вы будете? Из каких местов-то? – пропищала часовенная монашка, просовывая в тарантас кошелек с звонком и свою голову.

– Да бахаревские, бахаревские, чтой-то вы словно не видите, я барышень к тетеньке из Москвы везу, а вы не пускаете. Стой, Никитушка, тут, я сейчас сама к Агнии Николаевне доступна. – Старуха стала спускать ноги из тарантаса и, почуяв землю, заколтыхала к кельям. Никитушка остановился, монастырский сторож не выпускал из руки поводырь пристяжного коня, а монашка опять всунулась в тарантас.

– Из Москвы едете-то? – спросила она барышень.

– Женни, тебя спрашивают, – сказала Лиза и, продолжая лениться, смотрела на тиковый потолок фордека.

Гловацкая посмотрела на Лизу и вежливо ответила монахине:

– Из Москвы.

– В ученье были?

– Да, в институте.

Монахиня помолчала, а через несколько минут опять спросила:

– А теперь к кому же едете?

– Домой, к родителям, – отвечала Женни.

– Сродственников имеете?

– Да.

– Зачем это у вас в ворота не пускают? – повернувшись к говорившим, спросила Лиза.

– Как, матушка?

– Не пускают зачем? кого бояться? кого караулят?

– Н...ну, такое распоряжение от мать-игуменьи.

По монастырскому двору рысью бежала высокая весноватая девушка в черном коленкором платье, с сбившимся с головы черным шерстяным платком.

– Пусти! пусти! Что еще за глупости такие, выдумал не пущать! – кричала она Арефьичу.

– Я на то здесь поставлен... а велют, я и пущу, – ответил солдат и отошел в сторону.

Рыжая, весноватая девушка мигом вспрыгнула в тарантас и быстро поцеловала руки обеих барышень, прежде чем те успели их спрятать. Тарантас поехал.

– А тетенька-то как обрадовались: на крыльцо уж вышли встречать, ожидают вас. У нас завтра престол, владыко будут сами служить; закуска будет, и мирские из города будут, – трещала девушка скороговоркою.

Глава четвертая

Мать Агния

На высоком чистеньком крыльце небольшого, но очень чистого деревянного домика, окруженного со всех сторон акацией, сиренью, пестрыми клумбами однолетних цветов и не менее пестрою деревянную решеткою, стояли четыре женщины и две молоденькие девочки. Три из этих женщин были монахини, а четвертая наша знакомая, Марина Абрамовна. Впереди, на самой нижней ступеньке чистенького крылечка рисовалась высокая строгая фигура в черной шелковой ряске и бархатной шапочке с креповыми оборками и длинным креповым вуалем. Это была игуменья и настоятельница монастыря, Агния Николаевна, родная сестра Егора Николаевича Бахарева и, следовательно, по нем родная тетка Лизы. Ей было лет сорок пять, но на вид казалось не более сорока. В ее больших черных глазах виднелась смелая душа, гордая своею силою и своим прошлым страданием, оттиснутым стальным штемпелем времени на пергаментном лбу игуменьи. Когда матери Агнии было восемнадцать лет, она ярко звездою взшла на аристократический небосклон так называемого света. Первый ее выезд в качестве взрослой девицы был на великолепный бал, данный дворянством покойному императору Александру Первому за полгода до его кончины. Все глаза на этом бале были устремлены на ослепительную красавицу Бахареву; император прошел с нею полонез, наговорил любезностей ее старушке-матери, не умевшей ничего ответить государю от робости, и на другой день прислал молодой красавице великолепный букет в еще более великолепном порт-букете. С тех пор нынешняя мать Агния заняла первое место в своем свете. Три года продолжалось ее светское течение, два года за нею ухаживали, искали ее внимания и ее руки, а на третий она через пятые руки получила из Петербурга маленькую записочку от стройного гвардейского офицера, привозившего ей два года назад букет от покойного императора. В этой записочке было написано только следующее:

«Судьба моя решена самым печальным образом. Не жди меня и обо мне не справляйся: это только может навлечь на тебя большие неприятности. Следовать за мной ты не можешь, да и это только увеличило бы твои страдания. Возвращаю тебе твои клятвы, прошу тебя забыть меня и быть счастливою сколько можешь и как можешь. Блаженства, которое я ощущал два года, зная, что ты любишь меня более всех людей на свете, достанет мне на весь остаток моей жизни, и в холодных норах ужасной страны моего изгнания я не забуду ни твоего чистого взора, ни твоего прощального поцелуя. Твой до гроба князь А. Т.»

Анна Николаевна Бахарева в этом случае поступила так, как поступали многие героини писанных и неписанных романов ее века. Она томилась, рвалась, выплакала все глаза, отстояла колени, молясь теплой заступнице мира холодного, просила ее спасти его и дать ей силы совладать с страданием вечной разлуки и через два месяца стала навещать старую знакомую своей матери, инокиню Серафиму, через полгода совсем переселилась к ней, а еще через полгода, несмотря ни на просьбы и заклинания семейства, ни на угрозы брата похитить ее из монастыря силою, сделалась сестрою Агнию. С летами все это обошлось; старики, примирившись с молодой монахиней, примерли; брат, над которым она имела сильный умственный перевес, возвратясь из своих походов, очень подружился с нею; и вот сестра Агния уже восьмой год сменила умершую игуменью Серафиму и блюдет суровый устав приюта не умевших найти в жизни ничего, кроме горя и страдания. Мать Агнию все уважают за ее ум и за ее безупречное поведение по монастырской программе. У нее бывает почти весь город, и она каждого встречает без

всякого лицемерия, с тем же спокойным достоинством, с тою же сдержанностью, с которою она теперь смотрит на медленно подъезжающий к ней экипаж с двумя милыми ей девушками.

Сбоку матери Агнии стоит в почтительной позе Марина Абрамовна; сзади их, одною ступенькою выше, безответное существо, мать Манефа, друг и сожительница игуменьи, и мать-казначей, обе уж пожилые женщины. На верху же крыльца, прислонясь к лавочке, стояли две десятилетние девочки в черных шерстяных рясах и в остроконечных бархатных шапочках. Обе девочки держали в руках чулки с вязальными спицами.

– Какой глупый человек! – проговорила разбитым голосом мать Манефа, глядя на приближающийся тарантас.

– Кто это у тебя глупый человек? – спросила, не оборачиваясь, игуменья.

– Да Арефьич.

– Чем он так глуп стал?

– Да как же, не пускать.

– Ничуть это не выражает его глупости. Старик свое дело делает. Ему так приказано, он так и поступает. Исправный слуга, и только.

Старухи замолчали, няня вздохнула, тарантас остановился у крыльца перед кельею матери Агнии.

Глава пятая

Старое с новым

– Тетя! это вы, моя милая? – крикнула, выпрыгивая из тарантаса, Лиза Бахарева.

– Я, мой дружок, я, – отвечала игуменья, протянув к племяннице руки.

Обе обнялись и заплакали.

– Ну, полно, полно плакать, – говорила мать Агния. – Хоть это и хорошие слезы, радостные, а все же полно. Дай мне обнять Гешу. Поди ко мне, дитя мое милое! – отнеслась она к Гловацкой.

С этими словами старуха обняла Женни, стоявшую возле Лизы, несколько раз поцеловала ее, и у нее опять набежали слезы.

– Славная какая! – произнесла она, отодвинув от себя Гловацкую, и, держа ее за плечи, любовалась девушкою с упоением артиста. – Точно мать покойница: хороша; когда б и сердце тебе Бог дал материно, – добавила она, насмотревшись на Женни, и протянула руку стоявшему перед ней без шапки Никитушке.

– Довез, старина, благополучно?

– Благополучно доставил, матушка Агния Николаевна, – отвечал старик, почтительно целуя игуменьину руку.

– Ну и молодец.

Игуменья погладила Никитушку по его седой голове и, обратясь к рыжей девушке, таскавшей из тарантаса вещи, скомандовала:

– Экипаж на житный двор, а лошадей в конюшню! Тройку рабочих пусть выведут пока из стойл и поставят под сараем, к решетке. Они смирны, им ничего не сделается. А мы пойдемте в комнаты, – обратилась она к ожидавшим ее девушкам и, взяв за руки Лизу и Женни, повела их на крыльцо. – Ах, и забыла совсем! – сказала игуменья, остановясь на верхней ступеньке. – Никитушка! винца ведь не пьешь, кажется?

– Не пью, матушка Агния Николаевна.

– Ну, отпрягши-то, приходи ко мне на кухню; я тебя велю чайком попить; вечером сходи в город в баню с дорожки; а завтра пироги будут. Прощай пока, управляйся, а потом придешь рассказать, как ехалось. Татьяну видел в Москве?

– Видел, матушка.

– Ну что?

– Ничего, матушка, живет.

– Ну, с Богом, управляйся да приходи чай пить. Пойдемте, детки.

С чистенького крылечка игуменьиной кельи была дверь в такие же чистенькие, но довольно тесные сени, с двумя окнами по сторонам входной двери. В этих сенях, кроме двери, выходящей на крыльцо, было еще трое дверей. Одни, направо, вели в жилые комнаты матери Агнии. Тут была маленькая проходная комната вроде передней, где стоял большой платяной шкаф, умывальный столик с большим медным тазом и медным же рукомойником с подъемным стержнем; небольшой столик с привинченной к нему швейной подушечкой и кровать рыжей келейницы, закрытая ватным кашемировым одеялом. Далее шла довольно большая и очень светлая угловая комната в четыре окна, по два в каждую сторону. Здесь стояла длинная оттоманка, обитая зеленой шерстяной материей, образник, трое тщательно закрытых и заколотых пялец, ряд простых плетеных стульев и большие настенные часы в старинном футляре. В этой комнате жили и учились две сиротки, которых мать Агния взяла из холодной избы голодных родителей и которых мы видели в группе, ожидавшей на крыльце наших героинь. Девочки здесь учились и здесь же спали ноги к ногам на зеленой шерстяной оттоманке. Рядом была комната самой Агнии. Это была очень просторная горница, разделенная пополам ширмами

красного дерева, обитыми сверху до половины зеленою тафтою. За ширмами стояла полуторная кровать игуменьи с прекрасным замшевым матрацем, ночной столик, небольшой шкаф с книгами и два мягкие кресла; а по другую сторону ширм помещался богатый образник с несколькими лампадами, горевшими перед фамильными образами в дорогих ризах; письменный стол, обитый зеленым сафьяном с вытисненными по углам золотыми арфами, кушетка, две горки с хрусталем и несколько кресел. Пол этой комнаты был весь обит войлоком, а сверху зеленым сукном.

Затем шел большой зал, занимавший средину домика, а потом комната матери Манефы и столовая, из которой шла узенькая лестница вниз в кухню.

Мать Агния ввела своих дорогих гостей прямо в спальню и усадила их на кушетку. Это было постоянное и любимое место хозяйки.

– Чай, – сказала она матери Манефе и села сама между девушками.

– Давно мы не видались, детки, – несколько нараспев произнесла игуменья, положив на колени каждой девушке одну из своих белых, аристократических рук.

– Давно, тетя! шесть лет, – отвечала Лиза.

– Да, шесть лет, друзья мои. Много воды утекло в это время. Твоя прелестная мать умерла, Геша; Зина замуж вышла; все постарели и не поумнели.

– Зина счастлива, тетя?

– Как тебе сказать, мой друг? Ни да ни нет тебе не отвечу. То, слышу, бранятся, жалуются друг на друга, то мирятся. Ничего не разберу. Второй год замужем, а комедий настроила столько, что другая в двадцать лет не успеет.

– Сестра вспылчива.

– Взбалмошна, мой друг, а не вспылчива. Вспылчивость в доброй, мягкой женщине еще небольшое зло, а в ней блажь какая-то сидит.

– А он хороший человек?

– Так себе.

– Умный?

– Не вижу я в нем ума. Что за человек, когда бабы в руках удержать не умеет.

– Так они несчастливы?

– Таким людям нечего больше делать, как ссориться да мириться. Ничего, так и проживут, то ругаясь, то целуясь, да добрых людей потешая.

– А мама? Папаша?

– Брат очень состарился, а мать все котят чешет, как и в старину, бывало.

– А сестра Соня?

– С год уж ее не видала. Не любит ко мне, старухе, учащать, скучает. Впрочем, должно быть, все с гусарами в амазонке ездит. Болтается девочка, не читает ничего, ничего не любит.

– Вы, тетя, все такие же резкие.

– В мои годы, друг мой, люди не меняются, а если меняются, так очень дурно делают.

– Отчего же дурно, тетя? Никогда не поздно исправиться.

– Исправиться? – переспросила игуменья и, взглянув на Лизу, добавила: – ну, исправляются-то или меняются к лучшему только богатые, прямые, искренние натуры, а кто весь век лгал и себе, и людям и не исправлялся в молодости, тому уж на старости лет не исправиться.

– Будто уж все такие лживые, тетя, – смеясь, проговорила Лиза.

– Не все, а очень многие. Лжецов больше, чем всех дурных людей с иными пороками. Как ты думаешь, Геша? – спросила игуменья, хлопнув дружески по руке Гловацкую.

– Не знаю, Агния Николаевна, – отвечала девушка.

– Где тебе знать, мой друг, вас ведь в институте-то, как в парнике, держат.

– Да, это наше институтское воспитание ужасно, тетя, – вмешалась Лиза. – Теперь на него очень много нападают.

– И очень дурно делают, что нападают, – ответила игуменья.

Девушки взглянули на нее изумленными глазами.

– Вы же сами, тетечка, только что сказали, что институт не знакомит с жизнью.

– Да, я это сказала.

– Значит, вы не одобряете институтского воспитания?

– Не одобряю.

– А находите, что нападать на институты не должно.

– Да, нахожу. Нахожу, что все эти нападки неуместны, непрактичны, просто сказать, глупы. Семью нужно переделать, так и училища переделаются. А то, что институты! У нас что ни семья, то ад, дрянь, болото. В институтах воспитывают плохо, а в семьях еще несравненно хуже. Так что ж тут институты? Институты необходимое зло прошлого века и больше ничего. Иди-ка, дружок, умойся: самовар несут.

Лиза встала и пошла к рукомойнику.

– Возьми там губку, охвати шею-то, пыль на вас нашла, хоть репу сей, – добавила она, глядя на античную шейку Гловацкой.

Пока девушки умылись и поправили волосы, игуменья сделала чай и ожидала их за весело шипевшим самоваром и безукоризненно чистеньким чайным прибором.

Девушки, войдя, поцеловали руки у Агнии Николаевны и уселись по обеим сторонам ее кресла.

– Пойди-ка в залу, Геша, посмотри, не увидишь ли чего-нибудь знакомого, – сказала игуменья.

Гловацкая подошла к дверям, а за нею порхнула и Лиза.

– Картина маминого шитья! – крикнула из залы Гловацкая.

– Да. Это я тебе все берегла: возьми ее теперь. Ну, идите чай пить.

Девушки опять уселись за стол.

– Экая женщина-то была! – как бы размышляла вслух игуменья.

– Кто это, тетя?

– Да ее покойница-мать. Что это за ангел во плоти был! Вот уж именно хорошее-то и Богу нужно.

– Мать была очень добра.

– Да, это истинно святая. Таких женщин немного родится на свете.

– И папа же мой ведь добряк. Прелестный мой папа.

– Да, мы с ним большие друзья; ну, все же он не то. Мать твоя была великая женщина, богатырь, героиня. Доброта-то в ней была прямая, высокая, честная, ни этих сентиментальностей глупых, ни нерв, ничего этого дурацкого, чем хвалятся наши слабонервные кучера в юбках. Это была сила, способная на всякое самоотвержение; это было существо, никогда не жившее для себя и серьезно преданное своему долгу. Да, мой друг Геша, – добавила игуменья со вздохом и значительно приподняв свои прямые брови: – тебе не нужно далеко искать образцов!

– Вы так отзываетесь о маме, что я не знаю...

– Чего не знаешь?

– Я очень рада, что о моей маме осталась такая добрая память.

– Да, истинно добрая.

– Но сама я...

– Что ты сама?

Девушка покраснела и застенчиво проговорила:

– Я не знаю, как надо жить.

– Этой науки, кажется, не ты одна не знаешь. По-моему, жить надо как живется; меньше говорить, да больше делать, и еще больше думать; не быть эгоисткой, не выкраивать из всего

только одно свое положение, не обращая внимания на обрезки, да, главное дело, не лгать ни себе, ни людям. Первое дело не лгать. Людям ложь вредна, а себе еще вреднее. Станешь лгать себе, так всех обманешь и сама обманешься.

– Да как же лгать *себе*, тетя?

– Ах, мать моя! Как? Ну, вот одна выдумает, что она страдальца, другая, что она героиня, третья еще что-нибудь такое, чего вовсе нет. Уверят себя в существовании несуществующего, да и пойдут чудеса творить, от которых бог знает сколько людей станут в несчастные положения. Вот как твоя сестрица Зиночка.

– Вы, тетя, на нее нападаете, право.

– Что мне, мой друг, нападать-то! Она мне не враг, а своя, родная. Мне вовсе не приятно, как о ней пустые-то языки благовестят.

– Вы же сами не хвалите ее мужа.

– Так что ж! не хвалю, точно не хвалю. Ну, так и резон молодой бабочке сделаться городской притчею?

– Да если он дурной человек, тетя?

– Ну, какой есть, – сама выбрала.

– Можно ошибиться.

– Очень можно. Но из одной-то ошибки в другую лезть не следует; а у нас-то это, к несчастью, всегда так и бывает. Сделаем худо, а поправим еще хуже.

– Да в чем же ее ошибки, за которые все так строго ее осуждают?

– В чем? А вот в слабозычии, в болтовне, в неумении скрыть от света своего горя и во всяком отсутствии желания помочь ему, исправить свою жизнь, сделать ее сносною и себе, и мужу.

– Это не так легко, я думаю.

– И не так уж очень трудно. Брыкаться не надо. Брыканьем ничему не поможешь, только ноги себе же отобьешь.

– Извините, тетя; вы, мне кажется, оправдываете семейный деспотизм.

– В иных случаях, да, оправдываю.

– В каких же это, тетя, случаях?

– Например, во всех тех случаях, где он хранит слабых и неопытных членов семьи от заблуждений и ошибок.

Девушка немного покраснела и сказала:

– Значит, вы оправдываете рабство женщины?

– Из чего же это значит?

– Да как же! Вы оправдываете, как сейчас сказали, *в иных случаях* деспотизм; а четверть часа тому назад заметили, что муж моей сестры не умеет держать ее в руках.

– Ну так что ж такое?

– Это значит оправдывать рабство женщины в семье.

У Лизы раздувались ноздри, и она беспрерывно откидывала за уши постоянно разбегавшиеся кудри.

– Нет, милая, это значит ни более ни менее как признавать необходимость в семье одного авторитета.

– Ну да. Признавать законность воли одного над стремлениями других! Что ж это, не деспотизм разве?

– Ничуть не деспотизм.

– А что же? Что же это такое? Я должна жить как мне прикажут?

– Отчего же не так, как тебе присоветуют?

– Да, если это дружеский совет равного лица, а не приказание, как вы называете, авторитета.

- Слушайся совета, так он не перейдет в приказание.
- А если перейдет?
- Ну, ты же будешь виновата. Значит, не умела держать себя.
- Этак у вас всегда сильный прав: равенства, значит, нет.
- Равенства нет.
- И это вам нравится?
- Это нравится, верно, природе. Спроси ее, зачем один умнее другого, зачем один полезнее другого обществу.
- Природа глупа.
- Ну, какая есть.
- Гм! Это ужасно.
- Что это ужасно?
- Повиноваться, и только повиноваться!
- Нет, не только: можно и жить, и любить, и делать других счастливыми.
- Все повинуйся?
- Повинуйся, – повинуйся разуму.
- Своему – да; я это понимаю.
- Или другому, если этот разум яснее твоего, опытнее твоего и имеет все основания желать твоего блага.
- А если нет?
- Тогда повелевай им сама.
- Господи! Как странно вы смотрите, тетя, на жизнь. Или будь деспотом, или рабом. Приказывай или повинуйся. Муж глава, значит, как это читается.
- В большинстве случаев.
- И не выходи из его воли?
- Да. Если эта воля разумна, не выходи из нее. Иначе: не станешь признавать над собой одной воли, одного голоса, придется узнать их над собою несколько, и далеко не столь искренних и честных.
- Извините, тетя, что я скажу вам?
- Пожалуйста.
- Лиза немного задумалась и, покрасневшись, сказала:
- Вы отстали от современного образа мыслей.
- Выслушав это замечание, игуменья спокойно собрала со стола несколько крошечек белого хлеба и, ссыпав их в полоскательную чашку, спросила:
- А ты к чему пристала, глядя на свет сквозь покрашенные стекла института?
- Мы читали, мы говорили тоже, не беспокойтесь.
- Нет: не могу не беспокоиться, потому что вижу в твоей головке все эти бредни-то новые. Я тоже ведь говорю с людьми-то, и вряд ли так уж очень отстала, что и судить не имею права. Я только не пристала к врялям и не рассталась со смыслом. Я знаю эти, как ты называешь, взгляды-то. Двух лет еще нет, как ее братец вот тут же, на этом самом месте, все развивал мне ваши идеи новые. Все вздор какой-то! Не поймешь ничего. – Приехал Ипполит из университета, – обратилась она к Гловацкой, – ну и зашел ко мне. Вижу, мальчик, совсем еще мальчик – восемнадцать лет ведь всего. А ломается, кривляется. Пушкина на первых же шагах обругал, отца раскритиковал: «зачем, зачем, говорит, анахоретом живет?» – «Для тебя же с сестрой, говорю, батюшка так живет». – «От науки отстал», говорит. – Ну, глуп отец, одним словом, а он умен; тут же при мне и при двух сестрах, очень почтенных женщинах, монастыри обругал, назвал нас устрицами, приросшими к своим раковинам. Бог знает, что такое? Школы хорошей нет этому мальчику.
- Что ж, он ведь, может быть, говорил правду? – заметила Лиза.

– Правду, говоришь, говорил?

– Да.

Тетка немножко насупилась.

– И правду надо знать как говорить.

– Вы же сами говорите всем правду.

– Да, то-то, я говорю, надо знать, как говорить правду-то, а не осуждать за глаза отца родного при чужих людях.

– Он, верно, и не осуждал, а разбирал, анализировал.

– Нас, старух, изругал ни к стру, ни к смотру. Вреднейшие мы люди, тунеядицы.

– Монастыри, тетя, отжившие учреждения. Это все говорят.

– А почему это они отжившие учреждения, смею спросить?

– Потому, что люди должны трудиться, а не сидеть запершись, ничего не делая.

– Кто ж это вам сказал, что здесь ничего не делают? Не угодно ли присмотреться самой-то тебе поближе. Может быть, здесь еще более работают, чем где-нибудь. У нас каждая почти одним своим трудом живет.

– А в мире она бы втрое более могла трудиться.

– Или совсем бы не могла.

– Это отчего?

– От многого. От неспособности сжиться с этим миром-то; от неумения отстоять себя; от недостатка сил бороться с тем, что не всякий поборет. Есть люди, которым нужно, просто необходимо такое безмятежное пристанище, и пристанище это существует, а если не отжила еще потребность в этих учреждениях-то, значит, всякий молокосос не имеет и права называть их отжившими и поносить в глаза людям, дорожащим своим тихим приютом.

– Вы сейчас обвиняли ее брата в том, что он осуждает людей за глаза, а теперь обвиняете его в том, что он говорит правду в глаза. Как же говорить ее нужно?

Мать Агния совсем вспыхнула.

– Говорить надо с умом, – заметила она резко.

– Да я тут, собственно, не вижу глупости.

– Очень жаль, что ты не видишь неблаговоспитанности и мещанства.

– Что ж, и мещане люди, тетя?

– Да, люди, люди неблаговоспитанные, несносные, люди, вносящие в жизнь гадкую мещанскую дрязгу.

– Стало быть, они совсем уж не того стоят, чего мы?

– Совсем не того, чего стоят все люди благовоспитанные, щадящие человека в человеке.

То люди, а то *мещане*.

Лиза встала со стула, сделала ироническую гримасу и, пожав плечами, проговорила:

– Не понимаю, как такой взгляд согласовать с идеею христианского равенства.

– Не понимаешь?

– Не понимаю.

– Очень просто. Все мы равны перед Богом.

– Только-то?

– И только. Мещанство всегда останется мещанством.

– Как ты думаешь об этом, Женни? – спросила Лиза, стоя лицом к открытому окну.

Но прежде, чем Женни успела что-нибудь ответить, мать Агния ответила за нее:

– Геша не будет так дерзка, чтобы произносить приговор о том, чего она сама еще хорошо не знает.

Глава шестая

Молодой пересадок

Большой монастырский колокол гудел и заливался, призывая сестер безмятежного пристанища к вечерней молитве и долгому, праздничному всенощному бдению. По длинным дощатым мосткам, перекрещивавшим во всех направлениях монастырский двор и таким образом поддерживавшим при всякой погоде удобное сообщение между кельями и церковью, потянулись сестры. Много их было под началом матери Агнии. Лиза села у окна в теткиной спальне и глядела на проходившие мимо ее черные фигуры. Шли тихим, солидным шагом пожилые монахини в таких шапках и таких же вуалях, как носила мать Агния и мать Манефа; прошли три еще более суровые фигуры в длинных мантиях, далеко волокшихся сзади длинными шлейфами; шли так же чинно и потупив глаза в землю молодые послушницы в черных острокопечных шапочках. Между последними было много очень, очень молодых существ, в которых молодая жизнь жадно глядела сквозь опущенные глазки. Новы были впечатления, толпившиеся в головках Лизы и Женни, стоявшей тут же за креслом подружки и вместе с нею находившейся под странным влиянием монастырской суеты. Веселый звон колоколов, розовое вечернее небо, свежий воздух, пропитанный ароматом цветов, окружающих каждую келью, и эти черные фигуры, то согбенные и закутанные в черные покрывала, то молодые и стройные, с миловидными личиками и потупленными глазами: все это было ново для наших героинь, и все это располагало их к задумчивости и молчанию. Наконец, кончился третий трезвон; две молоденькие послушницы с большими книгами под руками быстро пробежали к церкви, а за дверью матери Агнии чистый, молодой контральт произнес нараспев:

– Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй нас.

– Аминь, – отвечала мать Агния, оканчивавшая прикалывание своего вуаля.

В дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня и, быстро подойдя к игуменье, поцеловала ее руку.

– Здравствуй, Феоктиста! Посмотри-ка, аккуратно ли я закололась сзади.

– Хорошо везде, матушка, – отвечала миловидная черница, внимательно осматривая игуменью.

– Все готово?

– Уже начал положили.

– Ну, пойдем, – давай мантию.

Сестра Феоктиста сняла со стены мантию и накинула ее на плечи игуменьи. Мать Агния была сурово-величественна в этой длинной мантии. Даже самое лицо ее как-то преобразилось: ничего на нем не было теперь, кроме сухости и равнодушия ко всему окружающему миру.

– Ну, до свидания, дети, – сказала она, подавая руки оставшимся у окна девушкам.

– А мы разве не пойдем в церковь? – спросила Лиза.

– Как хотите. Вы устали, служба сегодня долгая будет, оставайтесь дома.

– Лучше пойдем и мы, постоим сколько нам захочется.

– Ну хорошо. Позовите Марину и поправьтесь тут, а я сейчас пришлю за вами сестру Феоктисту; она вас проводит в церковь.

По мосткам опустелого двора шла строгою поступью мать Агния, а за нею, держась несколько сзади ее левого плеча и потупив в землю прелестные голубые глазки, брела сестра Феоктиста.

– Ах, какая хорошенькая! – сказала Лиза вслед прошедшим монахиням.

– Чудо что такое! – подтвердила Гловацкая.

– Это вы про сестру Феоктисту изволите говорить, барышня? – вмешалась весноватая белица, камер-юнгфера матери Агнии.

- Вот про эту монахиню, – ответила Гловацкая.
- Это она и есть сестра Феоктиста-с.
- Прехорошенькая.
- Это, барышня, в миру красоту-то наблюдают; а здесь все равны, что Феоктиста, что другая какая.
- Давно она в монастыре?
- Третий год, матушка; третий год, овдовевши, как в монастырь пошла. Она ведь еще в малом постриге.
- Что же, она тут при тетушке? – спросила Лиза.
- Так, тетенька любят, чтобы она при них находилась. Адъютантом своим называют ее.
- Разве она с тетушкой живет?
- Нет, у нее есть своя полкелья, а только когда в церковь или когда у тетеньки гости бывают, так уж сестра Феоктиста при них.
- Зачем же это?
- Так... Тетеньке так угодно.
- Она знакома была тетушке прежде, что ль?
- Не могу вам про это доложить, – да нет, вряд, чтобы была знакома. Она ведь из простых, из города Брянскова, из купечьей семьи. Да простые такие купцы-то, не то чтобы как вон наши губернские или московские. Совсем из простого звания.
- Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй нас! – раздалось опять за дверью. Весноватая белица твердо возгласила: «Аминь», – и на пороге показалась сестра Феоктиста.
- Спаси вас Господи и помилуй, – проговорила она, подходя к девушкам и смиренно придерживая одною рукою полу ряски, а другою собирая длинные шелковые четки с крестом и изящными волокнистыми кистями.
- Здравствуйте, здравствуйте, – приветливо отвечали в один голос обе девушки. Феоктиста добродушно поцеловала обеих и опять поклонилась.
- Вот вы уже пришли, а мы еще не готовы совсем, – извините нас, пожалуйста. Сестра Феоктиста ласково улыбнулась и сказала:
- Ничего-с: я посижу, подожду, – и она села на кончике дивана.
- Много мирских в церкви? – спросила сестру Феоктисту продолжавшая торчать здесь белица.
- Много. Яблоку упасть негде. Очень тесно в храме.
- Пошлите, пожалуйста, нашу няню, – попросила Лиза белицу, после чего та тотчас же вышла, а вслед за тем появилась Марина Абрамовна.
- Старуха, растопырив руки, несла в них только что выправленные утюгом белые платица барышень и другие принадлежности их туалета.
- Одевайтесь, матушки, а то к шапочному разбору придете, – говорила Марина Абрамовна, кладя на стол принесенные вещи.
- Девушки стали одеваться, няня помогала то той, то другой.
- Дайте я вам помогу, – сказала сестра Феоктиста, положив в угол дивана свои четки.
- Девушки вежливо отклоняли ее услужливость.
- Нет, что ж такое, я помогу. Разве это трудно?
- И сестра Феоктиста, встряхнув белую крахмальную юбку, набросила ее на Гловацкую.
- Благодарю вас, душка моя, – отвечала, покрасневшись, девушка и, обернувшись, поцеловала два раза молодую монахиню.
- А монахиня опять заворочалась в накрахмаленных вещах и одевала Женни в то же самое время, как Абрамовна снаряжала Лизу.
- Как нынче манишки-то стали шить! Совсем как мужчинская рубашка, – говорила сестра Феоктиста, оправляя надетую на Женни манишку.

- Вам нравится этот фасон?
- Нет, я так говорю; легче как будто, а то, бывало, у нас все шнурки да шнурочки.
- Вы давно в монастыре?
- Давно. Уж и не помню когда, – отвечала, смеясь, Феоктиста. – Три года уж.
- И не скучно вам?
- О чем скучать-то? Спаси Господи и помилуй!

Сестра Феоктиста глубоко вздохнула и в середине двух юниц отправилась в церковь. В церкви была страшная давка и духота. Сестра Феоктиста насилу провела Лизу с Женей вперед к решетке, окружающей амвон, и отошла к особенному возвышению, на котором неподвижно стояла строгая игуменья. Воздух в церкви все более и более сгушался от запаха жарко горящих в огромном количестве восковых свеч, ладана и дыхания плотной толпы молящегося народа. Перед началом стихир мать Агния незаметно кивнула пальцем сестре Феоктисте. Та подошла к ней, сделала поясной поклон и подставила ухо, а потом опять поклонилась тем же поясным поклоном и стала тихонько пробираться к нашим героям.

– Мать-игуменья беспокоятся за вас, – шепнула она девушкам. – Они велели мне проводить вас домой; вы устали, вас Бог простит; вам отдохнуть нужно.

– Пойдемте, – так же шепотом отвечали обе девушки и стали пробираться вслед за Феоктистой к выходу. На дворе стояли густые сумерки.

– Чаю напьетесь? – спросила сестра Феоктиста, входя на крыльцо кельи.

– По правде сказать, так всего более спать хочется, – отвечала Лиза.

– Ну, так Христос с вами, спите. Прощайте, Господь с вами.

– А нет, зайдите, зайдите, – заговорили девушки.

– Раздуйте самоварчик, – сказала, входя, сестра Феоктиста. – Ну, так спать? – добавила она, обратясь к девицам.

– Лежать, сестра Феоктиста, – отвечала Лиза.

– Ну, ложитесь, покатайтесь, поваляйтесь, расправьте косточки, а я вам душепарочки волью.

– Милая! какая вы милая! – сказала Лиза и крепко, взасос, по-институтски, поцеловала монахиню.

– Чем так вам мила стала? Голуби вы мои! Раздевайтесь-ка, да на постельку.

Истомленные дорогой девушки начали спешно разоблачаться.

– Где же лечь? – спросила Лиза.

– На постель, на постель, мой ангел. Тетушка так сказала, – отвечала сестра Феоктиста.

– Валимся! – проговорила Лиза и, забросив за уши свои кудри, упала на мягкую теткинину постель. За нею с краю легла тихо Гловацкая.

– Ну и отлично. Теперь я подам чайку.

– Зачем же вы сами, сестра Феоктиста?

– Да что ж за беда. Я и сама напьюсь с вами.

Чаек подали, и девушки, облокотясь на подушечки, стали пить. Сестра Феоктиста уселась в ногах, на кровати.

Девушки, утомленные шестидневной дорогой, очень рады были мягкой постельке и не хотели чаю. Сестра Феоктиста налила им по второй чашке, но эти чашки стояли нетронутые и стыли на столике.

– Кушайте!

– Не хочется, – отвечали обе девушки.

– Ну, почивайте. Всенощная еще не скоро кончится. Часа полтора еще пройдет, почивайте, а я пойду.

– Нет, посидите с нами, вы ведь тоже устали, там духота такая в церкви.

– Сестра Феоктиста! Как вы думаете, можно покурить потихоньку?

- Ох, не знаю, право.
- Ведь никто не взойдет?
- Не знаю.

Лиза спрыгнула с кровати, зажгла папироску и села у печки.

- Не тянет что-то.
- Труба, верно, закрыта от грома. Я открою сейчас, – и Феоктиста открыла трубу. Женни тоже покурила, и обе девушки снова улеглись.

– Душно точно, голова так и кружится, да это ничего, Господь подкрепляет, я привыкла уж, – говорила Феоктиста, продолжая прерванный разговор о церковной духоте.

– Как вы успели привыкнуть так скоро? – спросила, внимательно глядя на сестру Феоктисту, Лиза.

- М-м... Так привыкла, потому что здесь ведь хорошо.
- Чем же хорошо?
- Тихо так, хорошо.

Вышла пауза.

- И вы никогда не скучаете? – спросила Женни.
- Чего скучать, надо Богу молиться, а не скучать.
- Иногда против воли скучается.

Сестра Феоктиста вздохнула.

- Молитвой надо ограждать себя, – проговорила она тихо.
- А если нельзя молиться? – спросила быстро Лиза.
- Отчего нельзя?
- Если не спокоен, расстроен, взволнован.
- Тут-то и молиться.
- Вы это на себе испытали когда-нибудь?
- Как же. Искушения тоже бывают большие и в монастыре.
- Интриги?
- Как изволите?
- Интриги, говорю, есть? Сплетни, ссоры, клеветы, – пояснила Лиза.
- А! Ну все надо перенести: на то покаяние, на то монастырь.
- А есть это все?

– Как вам сказать? – отвечала Феоктиста с самым простодушным выражением на своем добром, хорошеньком личике. – Бывает, враг смущает человека, все по слабости по нашей. Тут ведь не то, чтоб как со злости говорится что или делается.

- А все враг смущает?
- Все по слабости нашей.
- Вы зачем пошли в монастырь-то?
- Как изволите? – переспросила сестра Феоктиста.

Лиза повторила свой вопрос.

- Так, пошла да и только.
- Дурно вам было дома, что ль?
- М-м... так. Муж помер, дитя померло, тятенька помер, я и пошла.
- Разве никого больше не оставалось у вас, и состояния никакого не было?
- Нет, видите, – повернувшись лицом к Лизе и взяв ее за колено, начала сестра Феок-

тиста: – я ведь вот церковная, ну, понимаете, православная, то есть по нашему, по русскому закону крещена, ну только тятенька мой жили в нужде большой. Городок наш маленький, а тятенька, на волю откупимшись, тут домик в долг тоже купили, хотели трактирчик открыть, так как они были поваром, ну не пошло. Только приказные судейские когда придут, да и то всё в долг больше, а помещики всё на почтовую станцию заезжали. Так, бывало, и плиты по

неделе целой не разводим. Ну я уж была на возрасте, шестнадцатый годок мне шел; матери не было, братец в лакейской должности где-то в Петербурге, у важного лица, говорят, служит, только отцу они не помогали. Известно, в этакой столице, самим им что, я думаю, нужно, в большом-то доме!

Феоктиста вздохнула и, помолчав, продолжала:

– Женихов у нас мало, да и то всё глядят на богатеньких, а мы же опять и в мещанство-то только приписались, да и бедность. Очень тятенька покойник обо мне печалился. Ну, а тут, так через улицу от нас, купцы жили, – тоже недавно они в силу пошли, из мещан, а только уж богатые были; всем торговали: солью, хлебом, железом, всяким, всяким товаром. У нас ведь, по нашему маленькому месту, нет этих магазинов, а всё вместе всем торгуют. Только были эти купцы староверы... не нашего, значит, закона, попов к себе не принимают, а все без попов. Ну, как там, Бог сам знает, как это сделалось, только этот купеческий сын Естифей Ефимыч вздумал ко мне присвататься. Из себя был какой ведь молодец; всякая бы, то есть всякая, всякая у нас, в городе-то, за него пошла; ну, а он ко мне сватался. В доме-то что у них из-за этого было, страсти Божьи, как, бывало, расскажут. Мать у него была почтенная старуха, древняя такая и строгая. Я-то тогда девчонка была, ничего этого не понимала. Уж не знаю, как там покойничек Естифей-то Ефимыч все это с маменькой своей уладил, только так о спажинках прислали к тятеньке сватов.

– Ну?

– Ну и выдали меня замуж, в церкви так в нашей венчали, по-нашему. А тут я годочек всего один с мужем-то пожила, да и овдовела, дитя родилось, да и умерло, все, как говорила вам, – тятенька тоже померли еще прежде.

– А вы в монастырь и пошли?

– Да и пошла вот.

– А с мужем вы счастливы были?

– Известно как замужем. Сама хорошо себя ведешь, так и тебе хорошо. Я ж мужа почитала, и он меня жалел. Только свекровь очень уж строгая была. Страсть какие они были суровые.

– Обижала она вас?

– Нет, обиды чтоб так не было, а все, разумеется, за веру мою да за бедность сердились, все мужа, бывало, урекают, что взял неровню; ну, а мне мужа жаль, я, бывало, и заплачу. Вот из чего было, все из моей дурости. – Жарко какво! – проговорила Феоктиста, откинув с плеча креповое покрывало.

– Снимите шапку.

– И то.

Феоктиста сняла бархатную шапку, и золотисто-русая коса, вырвавшись из-под сдерживавшей ее шапки, рассыпалась по черной ряске.

– Господи! какое великолепие! – вскрикнула Лиза.

– Что это вы?

– Смотри, смотри, Женни, какие волосы!

– Что вы, что вы это, – покрасневшись, лепетала сестра Феоктиста и протянула руку к только что снятой шапке; но Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, несколько раз крепко ее поцеловала. Женни тоже не отказалась от этого удовольствия и, перегнув к себе стройный стан Феоктисты, обе девушки с восторгом целовали ее своими свежими устами.

– Что это вы? – опять пролепетала монахиня.

– Какая вы красавица, сестра Феоктиста!

– Спаси Господи и помилуй; что это вам вздумалось! Испытание с вами, с мирскими, право.

Сестра Феоктиста набожно перекрестилась и добавила:

– Ну, так вот я вам уж доскажу. Вышедши замуж-то, я затяжелела; ну, брюхом-то мне то того, то другого смерть вот как хочется. А Великий пост был: у нас в доме как вот словно в монастыре, опричь грибов ничего не варили, да и то по средам и по пятницам без масла. Маменька строго это соблюдала. А мне то это икры захочется, то рыбы соленой, да так захочется, что вот просто душенька моя выходит. Я, бывало, это Естифею Ефимовичу ночью скажу, а он днем припасет, пронесет мне в кармане, а как спать ляжем с ним, я пологом задернусь на кровати, да и ем. Грех это так есть-то, Богу помолимшись, ну, а я уж никак стерпеть не могла. Брюхом это часто у женщин бывает. Ну и наказал же меня господь за мои за эти за глупости! Ох-хо-хо!

Феоктиста утерла слезы, наполнившие длинные ресницы ее больших голубых глаз, и продолжала:

– В самый в страстной вторник задумалось мне про селянку с рыбой. Вот умираю, хочу селянку с севрюжинкой, да и только. Пришел муж из лавки, легли спать, я ему это и сказываю про свое про хотенье-то. «Что ты, говорит, дура, какие дни! Люди теперь хлеба мало вкушают, а ты что задумала? Молись, говорит, больше, все пройдет». А я вместо молитвы-то целовать его да упрашивать: «Голубчик, говорю, сокол мой ясный, Естифей Ефимыч! уважь ты меня раз, я тебя сто раз уважу». Пристаю к нему: «Ручки, ножки, говорю, тебе перещелую, только уважь, покорми ты меня селяночкой». Знала я, что как пристанешь к нему лаской, беспременно он тебе сделает. Смотрю, точно уж, говорит: «Только как, говорит, пронести? Пронести никак нельзя». Это и правда. Рыбу там или икру можно как в кармане пронести, а селянку жидкую никак нельзя. Так я это в горе и заснула. Утром, гляжу, муж толк меня под бок: «Прибежи, говорит, часов в двенадцать в лавку». Я догадалась, опять-таки его расцеловала. Ох, боже, боже мой, боже мой! великая я грешница перед тобою!.. Жду не дождусь. Только пробило одиннадцать часов, я и стала надевать шубейку, чтоб к мужу-то идти, да только что хотела поставить ногу на порог, а в двери наш молодец из лавки, как есть полотно бледный. «Что ты, что ты, Герасим? – спрашиваем его с маменькой, а он и слова не выговорит. – Что, мол, пожар, что ли?» В окно так-то смотрим, а он глядел, глядел на нас, да разом как крикнет: «Хозяин, говорит, Естифей Ефимыч потонули!» – «Как потонул? где?» – «К городничему, говорит, за реку чего-то пошли, сказали, что коли Федосья Ивановна, – это я-то, – придет, чтоб его в чуланчике подождали, а тут, слышим, кричат на берегу: „Обломился, обломился, потонул!“ Побегли – ничего уж не видно, только дыра во льду и водой сравнялась, а приступить нельзя, весь лед иструх». Ничего тут уж я и не помню. Побегли к городничему, и городничий сам пришел. «Он, говорит, у меня не был, а был у повара, севрюги кусок принес, просил селянку сварить». Это в трактир-то на станцию ему нельзя было идти, далеко, да и боязно, встретишь кого из своих, он, мой голубчик, и пошел мне селяночку-то эту проклятую готовить к городническому повару, да торопился, на мост-то далеко, он льдом хотел, грех и случился. Во всем я передо всеми повиновалась. Что тут только мне было! Боже мой, Господи! Хуже меня по целому городу человека не ставили. И точно, что стоило. А уж свекровь, бывало, как начнет: силы небесные, что только она говорила! И змея-то я, и блудница вавилонская, сидящая при водах на звере червленне, – чего только ни говорила она с горя. Разумеется, мать, больно ей было, один сын только, и того лишилась. И не знаю я, как уж это все я только пережила! А только мне даже лучше было, что меня ругала маменька. А тут уж без покойника я родила девочку – хорошенькая такая была, да через две недели померла. Как я ни старалась маменьке угождать, все уж не могла ей угодить: противна я ей уж очень стала. Как я ей в глаза, она сейчас: «иди, иди, еретица проклятая!» Гонит меня. Думала в тятенькин домик перейти, что он мне оставил, маменька еще пуще осерчала: «развратничать, говорит, захотела, полюбовников на свободе собирать хочется». Я и стала проситься в монастырь, да вот и живу.

– А домик ваш?

– Так свекровь его взяла, а мне тут полкельи поставила.

- И ничего вам не дают?
- Нет, на что же мне, я работаю. Мне разве много нужно?
- Зачем же вы ей отдали?
- Да пусть. На что мне. Так оставила ей.
- И тут вам, говорите, хорошо?
- Хорошо, молюсь да работаю, что ж мне. Конечно, иной раз...
- Что, скучно?
- Нет, спаси, Господи, и помилуй! А все вот за эту... за красоту-то, что вы говорите. Не

то, так то выдумают.

- Что ж, кому мешает ваша красота?
- Да так, неш это по злобе! Так враг-то смущает. Он ведь в мире так не смущает, а здесь, где блудутся, он тут и вередует.

- Вам жаль вашего мужа?
- Очень жаль! Ах, как жаль. И где он, где его тело-то понесли быстрые воды весенние.

Молюсь я, молюсь за него, а все не смолить мне моего греха.

- Вы его не любили?
- Как же не любить мужа!
- А дитя тоже жаль?
- Не знаю уж, как и сказать, кого больше жаль! Дитя жаль, да все не так, все усну, так

забуду, а мужа и во сне-то не забуду. И во сне он меня мучит. Молюсь, молюсь создателю: «Господи, упокой ты его, отжени от меня грех мой». А только усну, только заведу глаза, а он надо мною стоит. Вот совсем стоит. Чувствую, холодный такой, мокрый весь, синий, как известно, утопленник, а потом будто белеет; лицо опять человеческое становится, глазами смотрит все на меня и совсем как живой, совсем живой. Просто вот берет меня за плечи, целует, «Феня, говорит, моя, друг мой!»

...Сестра Феоктиста остановилась, долго смотрела молча в одну точку темной стены и потом неожиданно, дернув на себе ряску, тревожно проговорила:

– Кудри его черные вот так по лицу по моему... Ах ты господи! боже мой! Когда ж эти сны кончатся? Когда ты успокоишь и его душеньку и меня, грешницу нераскаянную.

Тихо, без всякого движения сидела на постели монахиня, устремив полные благоговейных слез глаза на озаренное лампадой распятие, молча смотрели на нее девушки. Всенощная кончилась, под окном слышались шаги и голос игуменьи, возвращавшейся с матерью Манефой. Сестра Феоктиста быстро встала, надела свою шапку с покрывалом и, поцеловав обеих девиц, быстро скользнула за двери игуменьиной кельи.

Глава седьмая В ночной тишине

Глубоко запал в молодые сердца наших героинь простодушный рассказ сестры Феоктисты. Ни слова им не хотелось говорить, и ни слова они не сказали по ее уходе.

Мать Агния тихо вошла в комнату, где спали маленькие девочки, тихонько приотворила дверь в свою спальню и, видя, что там только горят лампы и ничего не слышно, заключила, что гости ее уснули, и, затворив опять дверь, позвала белицу.

– Умыться и раздеться, – сказала она вошедшей девушке.

– Там приготовлено-с.

– Перенести сюда, да тише, не разбуди детей. В спальню вошла белица и тихонько понесла оттуда умывальный прибор.

– Пили чай? – спросила игуменя вполголоса.

– Кушали, матушка.

– Давно легли?

– Давно-с, только они не спали, должно быть.

– Отчего?

– Сестра Феоктиста все у них там сидела на кровати, только вот сейчас выскочила.

– Спасибо ей.

– Всё разговаривали с нею.

– Молодые люди, поговорить хотят.

– Да-с, все про мужа говорили.

– Про какого мужа?

– Про Феоктистинова.

– Что ж они говорили?

– Все Феоктиста рассказывала, как жила у своих в миру.

– Ну?

– А они, барышни, все слушали. Все про сны какие-то сказывала им, что мужа видит.

– Это ты слышала?

– Как же-с!

– Сходи-ко к ней, чтоб завтра, как встанет... пораньше б встала и пришла ко мне.

– Слушаю-с!

– Давай умываться!

Послышались плески воды.

– Лихаревская Аннушка заходила отдохнуть, – говорила, подавая умываться, белица.

– Ну и что ж?

– Барыня-то ихняя вернулась.

– Вернулась?

– Вернулась, говорит, и прямо мужу в ноги.

– Ну?

– Простил-с, говорит, во всем.

– Дурак! – как бы про себя заметила мать Агния и, сев на стул, начала тщательно вытираться полотенцем.

– А у матери Варсонофьи опять баталия была с этой с новой белицей, что из дворянок, вот что мать-то отдала.

– За что это?

– Все дворянством своим кичится, стало быть. У вас, говорит, все необразование, кляузы, говорит, наущничество. Такая ядовитая девушка, бог с ней совсем.

- Верно, досадили ей.
- Не знаю-с.
- Варсонофия-то сама хороша. Вели-ка завтра этой белице за часами у ранней на поклоны стать. Скажи, что я приказала без рассуждений.
- Слушаю-с.
- Давай чистить зубы.
- Белица опять взошла на цыпочках в спальню и опять вышла.
- Что это у тебя в той руке? – спросила игуменья.
- Сор какой-то... бумажку у печки какую-то подняла.
- Покажи.
- Белица подала окурочек тоненькой папироски, засунутый девушками в печку.
- Откуда это?
- Барышни, верно, курили.
- Не забудь, чтоб рано была у меня Феоктиста.
- Слушаю-с.
- Игуменья положила окурочек папиросы в карман своей ряски.
- А Никита был здесь?
- Как же-с.
- Я его и видеть не успела. А ты сказала казначее, чтоб отправила Татьяне на почту, что я приказала?
- Виновата, запомнила-с, завтра скажу. Плохо ей, Татьяне-то бедной. Мужа-то ее теперь в пожарную команду перевели; все одна, недостатки, говорит, страшные терпит.
- Бедная женщина.
- Да-с. На вас, говорит, только и надеется. Грех, говорит, будет барышне: я им всей душой служила, а оне и забыли. Таково-то, говорит, господское сердце.
- Врешь.
- Право, Никитушка сказывал, что очень обижается.
- Врешь, говорю тебе. – К брату давно поехали дать знать, что барышни прибыли?
- Перед вторым звоном Борис поехал.
- Отчего так долго собирался?
- Седло, говорит, никуда не годится, никакой, говорит, сбруи нет. Под бабьим начальством жить – лучше, говорит, камни ворочать. На весь житный двор зевал.
- Его уж давно пора со двора долой. А гусар не был? – совсем понизив голос, спросила игуменья.
- Нет-с, нынче не было его. Я все смотрела, как народ проходил и выходил, а только его не было: врать не хочу.
- То-то. Если ты только врешь на нее...
- Вот убей меня бог на сем месте!
- Ну, уж половину соврала. Я с ней говорила и из глаз ее вижу, что она ничего не знает и в помышлении не имеет.
- Да ведь я и не докладала, что она чем-нибудь тут причинна, а я только...
- Врешь, докладывала.
- Нет, матушка, верно, говорю: не докладывала я ничего о ней, а только докладала точно, что он это, как взойдет в храм божий, так уставит в нее свои бельмы поганые и так и не сводит.
- Глядеть никому нельзя запретить, а если другое что...
- Нет, другого прочего до сих пор точно, что уж не замечала, так не замечала, и греха брать на себя не хочу.
- А что Дорофея?
- Трезвонит-с.

– Г-м! Усмирилась?

– Нет-с. И ни вот капельной капельки.

– Все свое.

– Умру, говорит, а правду буду говорить. Мне, говорит, сработать на себя ничего некогда, пусть казначею за покупками посылают. На то она, говорит, казначея, на то есть лошади, а я не кульер какой-нибудь, чтоб летать. Нравная женщина!

– Я ее успокою.

– Владыке, говорит, буду жаловаться. Хочет в другой монастырь проситься.

– Что-о! в другой монастырь?

– Да-с. Так рассуждала.

– В другой монастырь! А! ну посмотрим, как ее переведут в другой монастырь. Разуи меня и иди спать, – добавила игуменья.

Лиза повернулась на кровати и шепнула:

– Вон оно мещанство-то!

– Да, – также шепотом отвечала Женни, и девушки, завернувшись в одеяло, обнялись друг с другом.

А мать Агния тихо вошла, перекрестила их, поцеловала в головы, потом тихо перешла за перегородку, упала на колени и начала читать положенную монастырским уставом полунощницу.

Глава восьмая

Родные липы

Село Мерево отстоит сорок верст от губернского города и семь от уездного, в котором отец Гловацкой служит смотрителем уездного училища. Село Мерево стоит на самой почтовой дороге. В нем около двухсот крестьянских дворов, каменная церковь и два помещичьи дома. Один из господских домов, построенный на крутом, обрывистом берегу реки, принадлежит вдове камергера Мерева, а другой, утопающий в зелени сада, разросшегося на роскошной почве лугового берега реки Рыбницы, кавалерийскому полковнику и местному уездному предводителю дворянства, Егору Николаевичу Бахареву. Деревня вытянута по обе стороны реки, и как раз против сада Бахаревых, доходящего до самого берега, через реку есть мост.

Был девятый час вечера. Если б я был поэт, да еще хороший поэт, я бы непременно описал вам, каков был в этот вечер воздух и как хорошо было в такое время сидеть на лавочке под высоким частоколом бахаревского сада, глядя на зеркальную поверхность тихой реки и запоздалых овец, с бляением перебежавших по опустевшему мосту. Кругом тихо-тихо, и все надвигается сгущающийся сумрак, а между тем как-то все видишь: только все предметы принимают какие-то гигантские размеры, какие-то фантастические образы. Верстовой столб представляется великаном и совсем как будто идет, как будто вот-вот нагонит; надбрежная ракета смотрит горою, и запоздалая овца, торопливо перебегающая по разошедшимся половицам моста, так хорошо и так звонко стучит своими копытками, что никак не хочется верить, будто есть люди, равнодушные к красотам природы, люди, способные то же самое чувствовать, сидя вечером на каменном порожке инвалидного дома, что чувствуешь только, припоминая эти милые, теплые ночи, когда и сонная река, покрывающаяся туманной дымкой, <и> колеблющаяся возле ваших ног луговая травка, и коростель, дерущий свое горло на противоположном косогоре, говорят вам: «Мы все одно, мы все природа, будем тихи теперь, теперь такая пора тихая». В деревнях мало таких индифферентных людей, и то всего чаще это бывают или барышни, или барыни. Деревенский человек, как бы ни мала была степень его созерцательности, как бы ни велики были гнетущие его нужды и заботы, всегда чуток к тому, что происходит в природе. Никогда он утром не примет к сердцу известного вопроса так, как примет его в густые сумерки или в палящий полдень.

Итак, под высоким частоколом бахаревского сада, над самую рекою, была прилажена длинная дощатая скамейка, на которой теперь сидит целое общество. Егор Николаевич Бахарев, высокий, плотный мужчина с огромнейшими седыми усищами, толстым славянским носом, детски веселыми и детски простодушными голубыми глазами. На левой щеке у него широкий белый шрам от сабельного удара. Одет он в голубую гусарскую венгерку с довольно полинялыми шнурами и в форменной военной фуражке. Он курит огромную немецкую трубку, выпуская из-под своих седых прокопченных усищ целые облака дыма, который по тихому ветерку прямо ползет на лицо сидящих возле Бахарева дам и от которого дамы, ничего не говоря, бесцеремонно отмахиваются платками. В коленях у него сидит старая легавая сука, Сумбека, стоившая будто бы когда-то тысячу рублей, которую Егору Николаевичу несколько раз за нее даже и давали, но ни разу не дали. – Бахарев сидит вторым от края; справа от него помещаются четыре женщины и в конце их одна стоящая фигура мужеского рода; а слева сидит очень высокий и очень тонкий человек, одетый совершенно так, как одеваются польские ксендзы: длинный черный сюртук до пят, черный двубортный жилет и черные панталоны, заправленные в голенища козловых сапожек, а по жилету часовой шнурок, сплетенный из русских женских волос. Он уже совсем сед, гладко выбрит и коротко стрижен. В живых черных глазах этого лица видно много уцелевшего огня и нежности, а характерные заломы в углах тонких губ говорят о силе воли и сдержанности. Это смотритель уездного училища, Петр Лукич Гло-

вацкий. Возле Гловацкого, заложив за спину руки, стоит вольнонаемный конторщик, мещанин Нарцис Феодоров Перепелицын. Ему лет под пятьдесят, он полон, приземист, с совершенно красным лицом и сине-багровым носом, вводящим всех в заблуждение насчет его склонности к спиртным напиткам, которых Перепелицын не пил отроду. Он в синем сюртуке, белом жилете и штанах бланжевого трико. Слева стоит законная супруга предводителя, приобретенная посредством ночного похищения, Ольга Сергеевна, в белом чепце очень старого и очень своеобразного фасона, в марселиновом темненьком платье без кринолина и в большом красном французском платке, в который она беспрестанно самым тщательным образом закутывала с головы до ног свою сухощавую фигурку. Рядом с матерью сидит старшая дочь хозяев, Зинаида Егоровна, второй год вышедшая замуж за помещика Шатохина, очень недурная собою особа с бледно-сахарным лицом и капризною верхнею губкою; потом матушка-попадья, очень полная женщина в очень узком темненьком платье, и ее дочь, очень тоненькая, миловидная девушка в очень широком платье, и, наконец, Соня Бахарева. Она несколько похожа на сестру Зину и несколько напоминает Лизу, но все-таки она более сестра Зины, чем Лизы. У нее очень хорошие каштановые волосы и очаровательный свеженький ротик. Вообще, это барышня, каких много: существо мелочно самолюбивое, тирански жестокое и сентиментально мечтательное. Такое существо, которое пока растет, так ничего в нем нет, а вырастет, станет ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец. Против Сони и дочери священника сидит на зеленой муравке человек лет двадцати восьми или тридцати; на нем парусинное пальто, такие же панталоны и пикейный жилет с турецкими букетами, а на голове ветхая студенческая фуражка с голубым околышем и просаленным дном. Это кандидат юридических наук Юстин Феликсович Помада. Наружность кандидата весьма симпатична, но очень непрезентабельна: он невысок ростом, сутул, с широкою впалой грудью, огромными красными руками и большою головою с волосами самого неопределенного цвета. Эта голова составляет самую резкую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у него постоянно как будто падает и в этом падении тянет его то в ту, то в другую сторону, без всякого на то соизволения ее владельца.

Все это общество, сидя против меревского моста, ожидало наших героинь, и некоторые из его членов уже начинали терять терпение.

– Верно, не приедут сегодня, – заметила матушка-попадья, опасаясь, чтобы батрачка без нее не поставила квасить неочередный кубан.

– Очень может быть, – поддержала ее Ольга Сергеевна, по мнению которой ни один разумный человек вечером не должен был оставаться над водою.

– Вовсе этого не может быть, – возразил Бахарев. – Сестра пишет, что оне выедут тотчас после обеда; значит, уж если считать самое позднее, так это будет часа в четыре, в пять. Тут около пятидесяти верст; ну, пять часов проедут и будут.

– А может быть, раздумали, – слабо возразила Ольга Сергеевна.

– Не может этого быть, потому что это было бы глупо, а Агния дурить не охотница.

– В дороге что-нибудь могло случиться скорее, – проговорил сквозь зубы Гловацкий.

– Это так; это могло случиться: лошади и экипаж сделали большую дорогу, а у Никиты

Пустосвята ветер в башке ходит, – не осмотрел, наверное.

– Верхового не послать ли-с навстречу? – предложил Перепелицын.

– Ну... подождем часочек еще: если не будет их, тогда нужно будет послать.

– Чем посылать, так лучше ж самим ехать, – опять процедил Гловацкий.

– И то правда. Только если мы с Петром Лукичом уедем, так ты, Нарцис, смотри! Не моргай тут... действуй. Чтoб все, как говорил... понимаешь: хлопс-хлопс, и готово.

– Понимаю-с.

– То-то, а то ведь там, небось, в носки жарят.

– Как можно-с?

– Ну да, толкуй: можно-с... Эх, Зина, Алексея-то твоего нет!

– Да, нет, – простонала Зина.

– Чудак, право, какой! Семейная, можно сказать, радость, а он запропастился.

Зина глубоко вздохнула, склонила набок голову и, скручивая пальчиками кисточку своей мантилим, печально обиженным тоном снова простонала:

– Я уж к этому давно привыкла.

– Давно-о? – спросил старик.

– Да. Это всегда так. Стоит мне пожелать чего-нибудь от мужа, и этого ни за что не будет.

– Что ты вздор-то говоришь, матушка! Алексей мужик добрый, честный, а ты ему жена, а не метресса какая-нибудь, что он тебе назло все будет делать.

– Какой ты странный, Егор Николаевич, – томно вмешалась Ольга Сергеевна. – Уж, верно, женщина имеет причины так говорить, когда говорит.

– Нет, это еще не верно.

– Неужто же женщина, любящее, преданное, самоотверженное существо, станет лгать, выдумывать, клеветать на человека, с которым она соединена неразрывными узами! Странны ваши суждения о дочери, Егор Николаевич.

– А ваши еще страннее и еще вреднее. Дуйте, дуйте ей, сударыня, в уши-то, что она несчастная, ну и в самом деле увидите несчастную. Москва ведь от грошовой свечи сгорела. Вы вот сегодня все выболтали уж, так и беретесь снова за старую песню.

– Я не болтаю, как вы выражаетесь, и не дую никому в уши, а я...

Но в это время за горою послышались ритмические удары копыт скачущей лошади, и вслед за тем показался знакомый всадник, несшийся во весь опор к спуску.

– Костик! – вскрикнул Бахарев, быстро поднимаясь в тревоге со скамейки.

– Он-с, – так же тревожно отвечал конторщик. Все встали с своих мест и торопливо пошли к мосту. Между тем фореитор Костик, проскакав половину моста, заметил господ и, подняв фуражку, кричал:

– Едут! едут!

– Едут? Где едут? – спрашивал Бахарев, теряясь от волнения.

– Сейчас едут, за меревскими овинами уж.

– А! за овинами... боже мой!.. Смотри, Нарцис... ах боже... – и старик побежал рысью по мосту вдогонку за Гловацким, который уже шагал на той стороне реки, наискось по направлению к довольно крутому спиралеобразному спуску.

Дамы шли тоже так торопливо, что Ольга Сергеевна, несколько раз споткнувшись на подол своего длинного платья, наконец приостановилась и, обратясь к младшей дочери, сказала:

– Мне неловко совсем идти с Матузалевной, понеси ее, пожалуйста, Сонечка. Да нет, ты ее задушишь; ты все это как-то так делаешь, бог тебя знает! Саша, дружок, понесите, пожалуйста, вы мою Матузалевну.

Священническая дочь приняла из-под шали Ольги Сергеевны белую кошку и положила ее на свои руки.

– Осторожней, дружок, она не так здорова, – скороговоркою добавила Ольга Сергеевна и, приподняв перед своего платья, засемила вдогонку за опередившими ее дочерьми и попадью.

Кандидата уже не было с ними. Увидев бегущих стариков, он сам не выдержал и, не размышляя долго, во все лопатки ударился навстречу едущим.

Три лица, бросившиеся на гору, все разбились друг с другом. На половине спуска, отдуваясь и качаясь от одышки, стоял Бахарев, стараясь расстегнуть скорее шнуры своей венгерки, чтобы вдохнуть более воздуха; немного впереди его торопливо шел Гловацкий, но тоже беспрестанно спотыкался и задыхался. Немощная плоть стариков плохо повиновалась бодрости духа. Зато Помада, уже преодолев самую большую крутизну горы, настоящим орловским рыса-

ком несся по более отлогой косине верхней части спуска. Он ни на одно мгновение не призадумался, что он скажет девушкам, которые его никогда не видали в глаза и которых он вовсе не знает. Завидя впереди на дороге две белевшие фигуры, он удвоил рысь и в одно мгновение стал против девушек, несколько испуганных и еще более удивленных его появлением.

– Здравствуйте! – сказал он, задыхаясь, и затем не мог вспомнить ни одного слова.

– Здравствуйте, – растерянно отвечали девицы.

Помада снял фуражку, обтер ее дном раскрасневшееся лицо и совсем растерялся.

– Кто вы? – спросила Лиза.

– Я?.. Тут ждут... идут вот сейчас... идите...

– Кто? где ждет?

– Ваши.

Девушки пошли, за ними пошел молча Помада, а сзади их, из-за первого поворота спуска, закрипел заторможенным колесом тарантас.

– Евгения! дочь! Женичка! – раздалось впереди; и из окружающей ночной темноты выделилась длинная фигура.

Гловацкая отгадала отцовский голос, вскрикнула, бросилась к этой фигуре и, охватив своими античными руками худую шею отца, плакала на его груди теми слезами, которым, по сказанию нашего народа, ангелы божии радуются на небесах. И ни Помада, ни Лиза, безотчетно остановившиеся в молчании при этой сцене, не заметили, как к ним колтыхал ускоренным, но не скорым шагом Бахарев. Он не мог ни слова произнести от удушья и, не добжевав пяти шагов до дочери, сделал над собой отчаянное усилие. Он как-то прохрипел:

– Лизок мой! – и, прежде чем девушка успела сделать к нему шаг, споткнулся и упал прямо к ее ногам.

– Папа, милый мой! вы зашиблись? – спрашивала Лиза, наклоняясь к отцу и обнимая его.

– Нет... ничего... споткнулся... стар становлюсь, – лепетал экс-гусар голосом, прерывающимся от радостных слез и удушья.

– Вставайте же, милый вы мой.

– Постой... это ничего... дай мне еще поцеловать твои ручки, Лизок... Это... ничего... ох.

Бахарев стоял на коленях на пыльной дороге и целовал дочернины руки, а Лиза, опустившись к нему, целовала его седую голову. Обе пары давно-давно не были так счастливы, и обе плакали. Между тем подошли дамы, и приезжие девушки стали переходить из объятий в объятия. Старики, прийдя в себя после первого волнения, обняли друг друга, поцеловались, опять заплакали, и все общество, осыпая друг друга расспросами, шумно отправилось под гору. Вне всякой радости и вне всякого внимания оставался один Юстин Помада, шедший несколько в стороне, пошевеливая по временам свою пропотевшую под масляной фуражкой куафюру.

У самого моста, где кончался спуск, общество нагнало тарантас, возле которого стояла Марина Абрамовна, глядя, как Никитушка отцеплял от колеса тормоз, прилаженный еще по допотопному манеру.

– Здорово, ребятки! – крикнул Егор Николаевич, поравнявшись с тарантасом.

– Здравствуйте, батюшка Егор Николаевич! – отозвались Никитушка и Марина Абрамовна, устремляясь поцеловать барскую руку.

– Здравствуй, Марина Мнишек, здравствуй, Никита Пустосвят, – говорил Бахарев, целуясь с слугами. – Как ехали?

– Ничего, батюшка, ехали слава богу.

– Ну ехали, так и поезжайте. Марш! – скомандовал он.

Тарантас поехал, стуча по мостовинам; господа пошли сбоку его по левую сторону, а Юстин Помада с неопределенным чувством одиночества, неумолчно вопиющим в человеке при виде людского счастья, безотчетно перешел на другую сторону моста и, крутя у себя перед

носом сорванный стебелек подорожника, брел одиноко, смотря на мерную выступку усталой пристяжной.

«Что ж, – размышлял сам с собою Помада. – Стоит ведь вытерпеть только. Ведь не может же быть, чтоб на мою долю таки-так уж никакой радости, никакого счастья. Отчего?.. Жизнь, люди, встречи, ведь разные встречи бывают!.. Случай какой-нибудь неожиданный... ведь бывают же всякие случаи...»

Эти размышления Помады были неожиданно прерваны молнией, блеснувшей справа из-за частокола бахаревского сада, и раздавшимся тотчас же залпом из пяти ружей. Лошади храпнули, метнулись в сторону, и, прежде чем Помада мог что-нибудь сообразить, взвившаяся на дыбы пристяжная подобрала его под себя и, обломив утлые перила, вместе с ним свалилась с моста в реку.

– Что такое? что такое? – Режьте скорей постромки! – крикнул Бахарев, подскочив к испуганным лошадям и держа за повод дрожащую коренную, между тем как упавшая пристяжная барахталась, стоя по брюхо в воде, с оторванным поводом и одною только постролкою. Набежали люди, благополучно свели с моста тарантас и вывели, не входя вовсе в воду, упавшую пристяжную.

– Водить ее, водить теперь, гонять: она напилась воды, горячая! – кричал старый кавалерист.

– Слушаем, батюшка, погоняем.

– Слушаем! что наделали? Черти!

– Мы, Егор Николаевич, выслушавши ваше приказание...

– Что приказание? – кричал рассерженный и сконфуженный старик.

– Так как было ваше на то приказание.

– Какое мое приказание? Такого приказания не было.

– Выпалить приказывали-с.

– Выпалить – ну что же! Где я приказывал выпалить? – Я приказал салют сделать, как с моста съедут, а вы...

– Не спопашились, Егор Николаевич.

Тем и кончилось дело на чистом воздухе. В большой светлой зале сконфуженного Егора Николаевича встретил улыбающийся Гловацкий.

– Ну что, обморок небось? – спросил его вполголоса Бахарев.

– Ничего, ничего, – отвечал Гловацкий, – все уж прошло; дети умываться пошли. Все прошло.

– Ну-у, – Бахарев перекрестился и, проговорив: – слава в вышних Богу, что на земле мир, – бросил на стол свою фуражку.

– Угораздило же тебя выдумать такую штуку; хорошо, что тем все и кончилось, – смеясь, заметил Гловацкий.

– И не говори лучше! Черт их знал, что они и этого не сумеют.

– Да этого нужно было ожидать.

– Ну, полно, – знаешь: и на Машку бывает промашка. Пойдем-ка к детям. А дети-то!

– Что дети?

– Большие совсем.

– Дождались, Петр Пустынник.

– Дождались, драбант, дождались.

Старики пошли коридором на женскую половину и просидели там до полночи. В двенадцать часов поужинали, повторив полный обед, и разошлись спать по своим комнатам. Во всем доме разом погасли все огни, и все заснули мертвым сном, кроме одной Ольги Сергеевны, которая долго молилась в своей спальне, потом внимательно осмотрела в ней все закоулки и, отзыбнув дверь в комнату приехавших девиц, тихонько проговорила:

– Лизочка, нет ли у тебя моей Матузалеvны?

Но Лизочка уже спала как убитая и, к крайнему затруднению матери, ничего ей не ответила.

Глава девятая

Университетский антик прошлого десятилетия

Как только кандидат Юстин Помада пришел в состояние, в котором был способен сознать, что в самом деле в жизни бывают неожиданные и довольно странные случаи, он отодвинулся от мокрой сваи и хотел идти к берегу, но жестокая боль в плече и в боку тотчас же остановила его. Он снова охватил ослизшую, мокрую сваю и, прислоняясь к ней лбом, остановился в почти бесчувственном состоянии. Платье его было все мокро; он стоял в холодной воде по самый живот, и ноги его крепко увязли в илистой грязи, покрывающей дно Рыбницы. На небе начинало сереть, и по воде за клубился легонький парок. Помада дрожал всем телом и не мог удержать прыгающих челюстей; а в голове у него и стучало, и звенело, и все сознавалось как-то смутно и неясно. Бедняк то забывался, то снова вспоминал, что он в реке, из которой ему надо выйти и идти домой. Но тут, при первой же попытке вывязать затянутые илом ноги, несносная боль снова останавливала его, и он снова забывался. Наконец кандидат собрал свои последние силы и, не покидая сваи, начал потихоньку высвобождать свои ноги. Мало-помалу он вытянул из ила одну ногу, потом другую и, наконец, стиснув от боли зубы, сделал один шаг, потом ступил еще десять шагов и выбрел на берег. Ступив на землю, Помада остановился, потрогал себя за левое плечо, за ребра и опять двинулся; но, дойдя до моста, снова остановился. Оглянув свой костюм и улыбнувшись, Помада проговорил:

– Как есть черт из болота, – и, вздохнув, поплелся по направлению к дому камергерши Меревой.

На господском дворе еще все спало. Только старая легавая собака, стоявшая у коновязи, перед которою чистили лошадей, увидя входящего кандидата, зевнула, сгорбилась, потом вытянулась и опять стала укладываться, выбирая посуше местечко на росной траве. Двор, принадлежащий к дому камергерши, был не из модных, не из новых помещичьих дворов. Он был очень велик, но со всех сторон обнесен различными хозяйственными строениями. Большой одноэтажный дом, немножко похожий снаружи на уездную городскую больницу, занимал почти целую сторону этого двора. Окна парадных комнат дома выходили на гору, на которой был разбит новый английский сад, и под ней катилась светлая Рыбница, а все жилые и вообще непарадные комнаты смотрели на двор. Тут же со двора были построены в ряд четыре подъезда: парадный, с которого был ход на мужскую половину, женский чистый, женский черный и, наконец, так называемый ковровый подъезд, которым ходили в комнаты, занимаемые постоянно швеями, кружевницами и коверщицами, экстренно – гостями женского пола и приживалками. По левой стороне двора, прямо против ворот, тянулся ряд служб; тут были конюшни, денники, сараи, ледник, погреб и несколько амбаров. Как раз против дома, по ту сторону двора, тянулась длинная решетка, отгораживавшая двор от старого сада, а с четвертой стороны двора стояла кухня, прачечная, людская, контора, ткацкая и столярная. Все эти заведения помещались в трех флигелях, по два в каждом. Все три флигеля были, что называется, рост в рост, колос в колос и голос в голос. Фундаменты серые, стены желтые, оконницы белые, крыши красные. Три окна в ряд, посредине крыльцо, и опять три окна.

В одном из этих флигелей обитал Юстин Помада. Он занимал два дощатые чуланчика в флигеле, вмещавшем контору и столярную.

Стоит рассказать, как Юстин Помада попал в эти чуланчики, а при этом рассказать кое-что и о прошедшем кандидата, с которым мы еще не раз встретимся в нашем романе.

Юстин Помада происходил от польского шляхтича Феликса Антонова Помады и его законной жены Констанции Августовны Помады. Отец кандидата, прикосновенный каким-то боком к польскому восстанию 1831 года, был сослан с женою и малолетним Юстином в один из великороссийских губернских городов. Феликс Помада был человек очень добрый,

но довольно пустой. Долго он не находил себе в ссылке никакого занятия. Наконец-то, наконец, он как-то определился писарем в магистрат и побирал там маленькие, невинные взяточки, которые, не столько по любви к пьянству, сколько по слабости характера, тотчас же после присутствия пропивал с своими магистратскими товарищами в трактире «Адрианополь» купца Лямина. Всю семью содержала мать Юстина. Молодая, еще очень хорошенькая женщина и очень нежная мать, Констанция Помада с горем видела, что на мужа ни ей, ни сыну надеяться нечего, сообразила, что слезами здесь ничему не поможешь, а жалобами еще того менее, и стала изобретать себе профессию. Она умела довольно скоро и бойко играть на фортепиано легкие вещицы и особенно знала танцевальную музыку: это она и сделала своим ремеслом. Днями она бегала по купеческим домам, давая полтинные уроки толстоногим дочерям русского купечества, а по вечерам часто играла за два целковых на балах и танцевальных вечеринках у того же купечества и вообще у губернского *demi-mond'a*.¹ В городе даже славились ее мазурки, и у нее постоянно было столько работы, что она одними своими руками могла пропитать пьяного мужа и маленького Юстина. По одиннадцатому году, она записала сына в гимназию и содержала его все семь лет до окончания курса, освобождаясь по протекции предводителя только от вноса пяти рублей в год за сынино учение. Феликс Помада умер от перепоя, когда сын его был еще в третьем классе; но его смерть не произвела никакого ущерба в труженическом бюджете вдовы, и она, собирая зернышко к зернышку, успела накопить около ста рублей, назначавшихся на отправку Юстина в Харьковский университет. В Харькове у вдовы был брат, служивший чем-то по винному откупу. К нему и был отправлен восемнадцатилетний Юстин с гимназическим аттестатом, письмом, облитым материнскими слезами, ста рублями и тысячью благословений. Проводив сына, мать Помады взяла квартирку еще потеснее и еще более обрезала свои расходы. Все она гоношила, чтобы хоть время от времени послать что-нибудь своему милому Юське. Но не велики были и вообще-то ее недостатки, а с отъездом Юстина они и еще стали убавляться. Молодое купечество и юный *demi-monde* стали замечать, что «портится Помада; выдохлась», что нет в ее игре прежней удали, прежнего огня. И точно, словно какие-то болезненные стоны прорывались у нее иной раз в самых отчаянных и самых залихватских любовных мазурках танцоров, а к тому же еще в город приехал молодой тапер-немец; началась конкуренция, отодвинувшая вдову далеко на задний план, и она через два года после отъезда Юстина тихо скончалась, шепча горячую молитву за сына. Юстину в Харькове жилось трудно, но занимался он с страшным усердием. Юридический факультет, по которому он подвизался, в то время в Харькове был из рук вон плох, и Юстин Помада должен был многое брать сам, копаясь в источниках. Жил он у дяди в каморке, иногда обедал, а иногда нет, участия не видал ни от кого и был постоянным предметом насмешек за свою неуклюжесть и необычайную влюбчивость, обыкновенно весьма неудачную. Уроков Помада никак не мог набрать и имел только два урока в доме богатого купца Конопатина, который платил ему восемь рублей в месяц за работу с восемью бестолковыми ослятами.

Это составляло все доходы Помады, и он был весьма этим доволен. Он был, впрочем, вечно всем доволен, и это составляло в одно и то же время и отличительную черту его характера, и залог его счастья в несчастьи.

Юстин Помада только один раз горевал во все время университетского курса. Это было, когда он получил от старого друга своей матери письмо за черной печатью, а тяжелой посылкой образец Остробрамской Божией матери, которой его поручала, умирая, покойная страдальца. Но потом опять все пошло своим порядком по-старому. Юстин Помада ходил на лекции, давал уроки и был снова тем же детски наивным и беспечным «Корнишоном», каким его всегда знали товарищи, давшие ему эту кличку. В основе его беспечности лежала непоколебимая вера в судьбу, поддерживавшая в нем самые неясные и самые смелые надежды.

¹ полусвета (*франц.*).

– Все это вздор перед вечностью, – говорил он товарищам, указывавшим ему на худой сапог или лопнувший под мышкою сюртук.

Помада оставался спокойным даже тогда, когда инспектор, завидев его лопнувший сюртук, командовал ему:

– Извольте отправиться на двое суток в карцер за этот беспорядок.

Так Юстин Помада окончил курс и получил кандидатский диплом.

Надо было куда-нибудь пристраиваться. На первый раз это очень поразило Помаду. Потом он и здесь успокоился, решил, что пока он еще поживет уроками, «а тем временем что-нибудь да подвернется».

И точно, «тем временем» подвернулась вот такая оказия. Встретил Помаду на улице тот самый инспектор, который так часто сажал его в карцер за прорванный под мышками сюртук, да и говорит:

– Не хотите ли вы места брать? Очень, очень хорошее место: у очень богатой дамы одного мальчика приготовить в пажецкий корпус.

Юстин Помада так и подпрыгнул. Не столько его обрадовало место, сколько нечаянность этого предложения, в которой он видел давно ожидаемую им заботливость судьбы. Место было точно хорошее: Помаде давали триста рублей, помещение, прислугу и все содержание у помещицы, вдовы камергера, Меревой. Он мигом собрался и «пошил» себе «цивильный» сюртук, «брюндели», пальто и отправился, как говорят в Харькове, в «Россию», в известное нам село Мерево.

Это было за семь лет перед тем, как мы встретились с Юстином Помадою под частоколом бахаревского сада.

Два года промелькнули для Помады, как один день счастливый. Другой в его положении, может быть, нашел бы много неприятного, другого задевали бы и высокомерное, несколько презрительное третирование камергерши, и совершенное игнорирование его личности жирным управителем из дворовых, и холопское нахальство камергерской прислуги, и неуместные шутки барчонка, но Помада ничего этого не замечал. Его пленяли поля, то цветущие и колеблющиеся переливами зреющих хлебов, то блестящие девственной чистотой белого снега, и он жил да поживал, любя эти поля и читая получавшиеся в камергерском доме, по заведенному исстари порядку, журналы, которых тоже, по исстари заведенному порядку, никто в целом доме никогда не читал. А «тем временем» ученик Помады пришел в подобающий возраст, и толстый управитель стал собираться в Петербург для представления его в пажецкий корпус. Стариуха-камергерша давно никуда не выезжала и почти никого не принимала к себе, находя всех соседей людьми, недостойными ее знакомства. С нею жили три компаньонки, внучек, которого приготавливал к корпусу Помада, и внучка, девочка лет семи. Мать этих детей, расставшись с мужем, ветрилась где-то за границей, и о ней здесь никто не думал.

С отъездом ученика в Питер Помада было опять призадумался, что с собой делать, но добрая камергерша позвала его как-то к себе и сказала:

– Monsieur Pomada!² Если вы не имеете никаких определенных планов насчет себя, то не хотите ли вы пока заняться с Леночкой? Она еще мала, серьезно учить ее рано еще, но вы можете ее так, шутя... ну, понимаете... поучивать, читать ей чистописание... Я, право, дурно говорю по-русски, но вы меня понимаете?

Помада отозвался, что совершенно понимает, и остался читать девочке чистописание.

«А тем временем, – думал он, – что-нибудь и опять трафится».

Так опять уплыл год и другой, и Юстин Помада все читал чистописание. В это время камергерша только два раза имела с ним разговор, касавшийся его личности. В первый раз,

² Господин Помада! (франц.)

через год после отправления внука, она объявила Помаде, что она приказала управителю расчесть его за прошлый год по сту пятидесяти рублей, прибавив при этом:

– Вы сами, *monsieur* Помада, знаете, что за Леночку нельзя платить столько, сколько я платила за Теодора.

А во второй раз, опять через год, она сказала ему, что намерена освежить стены в доме новыми бумажками и потому просит его перейти на некоторое время в конторский флигель. Юстина Помаду перевели в два дощатые чулана, устроенные при столярной в конторском флигеле, и так он тут и остался на застойной, несмотря на то, что стены его бывших комнат в доме уже второй раз подговаривались, чтобы их после трех лет снова освежили бумажками. А «тем временем» в село перевели нового священника с молодой дочкой. Бахарев летом стал жить в деревне. Помада познакомился с ним на охоте и сделался ежедневным посетителем бахаревского дома. И семья священника, и семья Бахарева не питали к Помаде особенного расположения, но привыкли к нему как-то и считали его своим человеком. Помада был этим очень доволен и, по нежности своей натуры, насмерть привязался ко всем членам этих семейств совершенно безразличною привязанностью. Он любил и самого прямодушного Бахарева, и его пискливую половину, и слабонервную Зину, и пустую Софи, и матушку-попадью, и веселого отца Александра, посвящавшего все свое свободное время изобретению *perpetuum mobile*.³ Особым расположением Помады пользовался только один уездный врач, Дмитрий Петрович Розанов, лекарь *cum euhimia laude*.⁴ Он был лет на пять старше кандидата, составил себе в уезде весьма мудреную репутацию и имел неотразимый авторитет над Юстином Помадой. Помада часто с ним споривал и возмущался против его «грубых положений», но очень хорошо знал, что после его матери Розанов единственное лицо в мире, которое его любит, и сам любил его без меры. Управитель ненавидел Помаду бог весть за что, и дворня его тоже не любила. Даже столярный ученик, пятнадцатилетний мальчик Епифанька, отряженный для услуг Помаде, ненавидел его от всего сердца и повиновался только из страха, что неравно наедет лекарь и оттаскает его, Епифаньку, за виски. Кого бы вы ни спросили о Помаде, какой он человек? – стар и мал ответит только: «так, из поляков», и словно в этом «из поляков» высказывалось категорическое обвинение Помады в таком проступке, после которого о нем уж и говорить не стоило. А в существе-то Помаду никак нельзя было и назвать поляком. Выросши в России и воспитавшись в русских училищах, он был совершенно русский и даже сам не считал себя поляком. Отец на него не имел никакого влияния, и если что в нем отражалось от его детской семейной жизни, то это разве влияние матери, которая жила вечными упованиями на справедливость рока.

И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежде на Бога
Хранила все детскую веру.

Но как бы там ни было, а только Помаду в меревском дворе так, ни за что ни про что, а никто не любил. До такой степени не любили его, что, когда он, протащившись мокрый по двору, простонал у двери: «отворите, бога ради, скорее», столяр Алексей, слышавший этот стон с первого раза, заставил его простонать еще десять раз, прежде чем протянул с примостка руку и отсунул клямку.

– Епифаньку, сделай милость, пошли, Алексей, – простонал снова Помада, перенося за порог ногу.

³ вечного двигателя (*лат.*).

⁴ букв.: с высшей похвалой (*лат.*).

– Спит Епифанька. Где теперь вставать ребенку, – отвечал столяр, посылающий этого же Епифаньку ночью за шесть верст к своей разлапушке.

– Побуди, бога ради, – я расшибся насмерть.

– Где так?

– О господи! да полно тебе расспрашивать, – побуди, говорю.

Столяр стал чесаться, а Помада пошел в свои апартаменты.

В первой комнате, имевшей три шага в квадрате, у него стоял ушат с водой, плетеный стул с продавленной плетенкой и мочальная швабра. Тут же выходило устье варистой печи, задернутое полоской диконького, пестрого ситца, навешенного на шнулочке. Во второй комнате стояла желтая деревянная кровать, покрытая кашемировым одеялом, с одной подушкой в довольно грязной наволочке, черный столик с большой круглою чернильницей синего стекла, полки с книгами, три стула и старая, довольно хорошая оттоманка, на которой обыкновенно, заезжая к Помаде, спал лекарь Розанов.

Кандидат как вошел, так и упал на кровать и громко вскрикнул от ужасной боли в плече и колене.

Долго лежал он, весь мокрый, охая и стоная, прежде чем на пороге показался Епифанька и недовольным тоном пробурчал:

– Что вам нужно?

– Где ты бываешь, паршивый? – сквозь зубы проговорил Помада.

– Где? Напрасно не сидел для вас всю ночь.

– Стащи с меня сапоги.

Мальчик глянул на сапоги и сказал:

– Где это так вобрались?

– Я расшибся; потише бога ради.

Вволю накричался Помада, пока его раздел Епифанька, и упал без памяти на жесткий тюфяк.

В обед пришла костоправка, старушка-однодворка. Стали будить Помаду, но он ничего не слышал. У него был глубокий обморок, вслед за которым почти непосредственно начался жестокий бред и страшный пароксизм лихорадки.

Такое состояние у больного не прекращалось целые сутки; костоправка растерялась и не знала, что делать. На другое утро доложили камергерше, что учитель ночью где-то расшибся и лежит теперь без ума, без разума. Та испугалась и послала в город за Розановым, а между тем старуха, не предвидя никакой возможности разобрать, что делается в плечевом сочленении под высоко поднявшеюся опухолью, все «вспаривала» больному плечо разными травками да муравками. Не нашли Розанова в городе, – был где-то на следствии, а Помада все оставался в прежнем состоянии, переходя из лихорадки в обморок, а из обморока в лихорадку. И страшно стонал он, и хотелось ему метаться, но при первом движении нестерпимая боль останавливала его, и он снова впадал в беспамятство.

На третьи сутки, в то самое время, как Егор Николаевич Бахарев, восседая за прощальным завтраком, по случаю отъезда Женни Гловацкой и ее отца в уездный городок, вспомнил о Помаде, Помада в первый раз пришел в себя, открыл глаза, повел ими по комнате и, посмотрев на костоправку, заснул снова. До вечера он спал спокойно и вечером, снова проснувшись, попросил чаю.

Ему подали чай, но он не мог поднять руки, и старуха поила его с блюдца.

– Что, Николавна? – проговорил он, обращаясь к давно ему знакомой костоправке.

– Что, батюшка?

– Худо мне, Николавна.

– Ничего, батюшка, пройдет, – и не то, да проходит.

– А что у меня такое?

- Ничего, родной.
- Сломано что или свихнуто?
- Опух очень большой, кормилец, ничего знать под ним, под опухом-то нельзя.
- Где опухоль? – тихо спросил Помада.
- Да вот плечико-то, видишь, как разнесло.
- А!
- Да, вздумшись все.
- Больной снова завел глаза, но ему уж не спалось.
- Николавна! – позвал он.
- Что, батюшка?
- Ты за мной хорошо глядела?
- Как же не глядеть!
- То-то. Я тебя за это награждать желаю.
- Спасибо, кормилец. Я здли всякого, здли всякого завсегда готова, что только могу...
- Я тебе штаны подарю, – тихо перебил ее с легкой улыбкой Помада.
- Штаны-ы? – спросила старуха.
- Да. Суконные, – важные штаны, со штрипками.
- На что мне твои штаны?
- Зимой будешь ходить. Я тебя научу, что там переделать придется. Теплынь будет!
- Ох ты!
- Чего?
- Полно. Неш я из корысти какой! А то взаправду хоть и подари: я себе безрукавочку такую, курточку сошью; подари. Только я ведь не из-за этого. Я что умею, тем завсегда готова.
- Да жаль, что ничего не умеешь-то.
- Ну, – что умею, родной.
- Да что ж умеешь? Вон видишь, говоришь: «опух велик», ничего не разберешь, значит.
- Точно опух уж очень вздулся, велик.
- Ах!

Помада вздохнул и хотел повернуться лицом к стене, но боль его удержала, и он снова остался в прежнем положении.

Наступила и ночь темная. Старуха зажгла свечечку и уселась у столика. Помада вспомнил мать, ее ласки теплые, веселую жизнь университетскую, и скучно, скучно ему становилось.

«Что же это, однако, будет со мной?» – думал он и спросил:

- А что со мною будет, Николавна?
 - Ничего, милый, – дохтарь завтра, баят, приедет. Он сичас узнает.
 - Он, значит, больше твоего знает?
 - Ну, – ученые люди, или мы?
 - А ты-то что со мной делала?
 - Вспаривала, – что ж еще делать? Опух велик, ничего нельзя делать.
 - Сеном парила?
 - Нет, травками.
 - То-то, из сена?
 - Все-то ты пересмешничаешь надо мной.
 - Да разве не все равно травы, что у тебя, что на сеннике?
- Старуха сощипнула со свечи, потом потянула губы, потом вздохнула и проговорила:
- Нет, милый, есть травы тоже редкие.
 - Да ты-то их, Николавна, не знаешь?
 - Ну как не знать!
 - Ну расскажи, какие ты знаешь травы редкие-то, что в сене их нет?

– Что в сене-то нет! Мало ли их!

– Ну!

– Да мало ли их!

– Да ну же, расскажи, Николавна, – спать не хочется.

– Ну вот тебе хошь бы первая теперь трава есть, называется коптырь-трава, растет она корешком вверх. Помада засмеялся и охнул.

– Чего ты?

– Ну, какая трава корешком вверх может расти?

– А вот же растет, и тветы у нее под землей тветут. Помада опять охнул и махнул рукой, удерживая смех, причинявший ему боль.

– Что? не веришь? А полисада-трава вон и совсем без корня.

– Полно, Николавна, не смеши.

– Я и не на смех это говорю. Есть всякие травы. Например, теперь, кто хорошо знается, опять находят лепестан-траву. Такая мокрая трава называется. Что ты ее больше сушишь, то она больше мокнет.

– Ох, будет, Николавна, – вздор какой ты рассказываешь.

– Нет, друг ты мой, не вздор это, не вздор. Есть всякие травы на свете. Есть и в травах-то своя разница. Иная трава больше стоит у Господа, а другая – меньше. Иная одно определение от Бога имеет, а иная и два, и три, и несколько. Есть вот трава, так называется Адамова голова. Растет она возле сильных, рамедных болот кустиками, по пяти и по девяти листов. Растет она в четыре вершка, вот этакенькая вот будет. – Старуха показала вершка четыре от столика. – Твет у этой травы алый, алый, вроде даже как синий. И когда она расцветет, страсть тут как хороша бывает. И эту траву рвут со крестом, говоря отчу и помилуй мя, Боже, – или же каких других тридцать молитв святых. Этой-то вот травой что можно сделать на свете! Все ею можно сделать. Этой травой пользуют испорченного человека, или у кого нет плоду детям, то дать той женщине пить, – сейчас от этого будет плод. Если ж опять кто хочет видеть дьявола, то пусть возьмет он корень этой травы и положит его на сорок дней за престол, а потом возьмет, ушьет в ладанку да при себе и носит, – только чтоб во всякой чистоте, – то и увидит он дьяволов воздушных и водяных... Или опять на случай приостановления мельницы, то вода остановится, где только пожелаешь. Это трава богатая, любимая у Бога травка, и называется эта травка во всех травах царь... Спишь, родной?

Старуха нагнулась к больному, который сладко уснул под ее говор, перекрестила его три раза древним большим крестом и, свернувшись ежичком на оттоманке, уснула тем спокойным сном, каким вряд ли нам с вами, читатель, придется засыпать в ее лета.

Глава десятая

Летнее утро

Стояло серое летнее утро. Туч на небе не было, но и солнце не выглядывало, воздух едва колебался тихими, несмелыми порывами чрезмерно теплого ветерка. Такие летние утра в срединной России необыкновенно благоприятно действуют на всякое живое существо, до изнеможения согретое знойными днями. Таким утрам обыкновенно предшествуют теплые безлунные ночи, хорошо знакомые охотникам на перепелов. Чудные дела делаются с этой птицей в такие чудные ночи! Всегда падкий на сладострастную приманку, перепел тут как будто совсем одуревает от неукротимых влечений своего крошечного организма. Заслышав манящий клик залегшего в хлебах вабильщика, он мигом срывается с места и мчится на роковое свидание, толкаясь серую головкою о розовые корешки растущих хлебов. Только расставишь сетку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая голосу перепелки, а уж где-то, загончика за два, за три, откликается пернатый Дон Жуан. В другое время, в светлую лунную ночь, его все-таки нужно поманывать умнечко, осторожно, соображая предательский звук с расстоянием жертвы; а в теплые безлунные ночи, предшествующие серым дням, птица совершенно ошалевает от сладострастия. Тут не нужно с нею никакой осторожности. Не успеешь сообразить, как далеко находится птица, отозвавшаяся на первую поманку, и поманишь ее потише, думая, что она все-таки еще далеко, а она уже отзывается близехонько. Кликнешь потихоньку в другой раз – больше уже и вабить не надо. Сладострастно нетерпеливое оханье слышится в двух шагах, и между розовых корней хлеба лезет перепел. Тут он уже не мчится сумасшедшим бедуином, а как-то плетется, тяжело дыша и беспрестанно оглядываясь во все стороны. Еще раз помануть его уже никак невозможно, потому что самый тихий звук вабилки заведет птицу дальше, чем нужно. Тут только лежишь и, удерживая смех, смотришь под сетку, а перепел все лезет, лезет, шумя стебельками хлеба, и вдруг предстает глазам охотника в самом смешном виде. Кто имел счастье жить летом на Крестовском или преимущественно в деревне Коломяге и кто бродил ранним утром по тощим полям, начинающимся за этою деревнею, тот легко может представить себе наших перепелов. Для этого стоит припомнить чинного петербургского немца, преследующего рано, на зорьке, крестьянских девушек. Немец то бежит по полю, то присядет в рожь, так что его совсем там не видно, то над колосьями снова мелькнет его черная шляпа; и вдруг, заслышав веселый хохот совсем в другой стороне, он встанет, вздохнет и, никого не видя глазами, водит во все стороны своим тевтонским клювом. Панталонишки у него все подтрепаны от утренней росы, оживившей тощие, холодные поля; фалды сюртучка тоже мокры, руки красны, колена трясутся от беспрестанных пригинаний и прискакиваний, а свернутый трубкой рот совершенно сух от тревог и томленья. Таков бывает и перепел, когда, прекращая стремительный бедуинский бег между розовыми корешками высоких тоненьких стеблей, он тает от нетерпеливого желания угасить пламень пожирающей его страсти. Толчется пернатый сластолюбец во все стороны, и глаза его не докладывают ему ни о какой опасности. Он весь мокр, серенькие перышки на его маленьких голеньях слиплись и свернулись; мокрый хвостик вытянулся в две фращные фалдочки; крылышки то трепещутся, оживляясь страстью, то отпадают и тащатся, окончательно затрепываясь мокрою полевою пылью; головенка вся взъерошена, а крошечное сердчишко тревожно бьется, и сильно спирается в маленьком зобике скорое дыхание. Метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется сюда, и вдруг на вашей щеке чувствуется прикосновение ее холодных лапок и мокрого, затрепанного фращка, а над ухом раздастся сладострастный вздох. Надо иметь много равнодушия, чтобы не рассмеяться в такую минуту. Самый серьезный русский мужичок, вабящий перепелов в то время, когда ему нужно бы дать покой своим усталым членам, всегда добродушно относится к обтрепанному

франту. «Ах ты, поганец этакой!» – скажет он с ласковой улыбкой и тихонько пустит пернатого фертика в решето, надшитое холщовым мешочком.

Такая чудотворящая ночь предшествовала тому покойному утру, в которое Петр Лукич Гловацкий выехал с дочерью из Мерева в свой уездный город. От всякой другой поры подобные утра отличаются, между прочим, совершенно особенным влиянием на человеческую натуру. Человек в такую пору бывает как-то спокоен, тих и бескорыстен. Даже ярмарочные купцы, проезжая на возах своего гнилого товара, не складают тогда в головах барышей и прибытков и не клюют носом, предаваясь соблазнительным мечтам о ловком банкротстве, а едут молча смотря то на поле, волнующееся под легким набегом теплого ветерка, то на задумчиво стоящие деревья, то на тонкий парок, поднимающийся с сонного озера или речки.

Редко самая заскорюзлая торговая душа захочет нарушить этот покой отдыхающей природы и перемолвиться словом с товарищем или приказчиком. Да и то заговорит эта душа не о себе, не о своих хлопотах, а о той же спокойной природе.

– Ишь птица-то полетела, – скажет ярмарочник, следя за поднявшейся из хлебов птахою.

– Да, – ответит товарищ или приказчик.

И опять едут тихо.

– Должно, у нее тут где-нибудь дети есть, – опять заметит ярмарочник.

– Надо так рассуждать, что есть дети, – серьезно ответит приказчик.

– А может и перелетная.

– Да, может что и перелетная, – предположит приказчик.

И опять разговор оборвется, и опять едут тихо.

Женни с отцом ехала совсем молча. Старик только иногда взглядывал на дочь, улыбался совершенно счастливой улыбкой и снова впадал в чисто созерцательное настроение. Женни была очень серьезна, и спокойная задумчивость придавала новую прелесть ее свежему личику.

На половине короткой дороги от Мерева к городу их встретил меревский Нарцис.

Конторщик скоро шел по опушке мелкого кустарника и, завидев Петра Лукича, быстро направился к дороге.

– Здравствуйте, батюшка Петр Лукич! – кричал он, снимая широкодонный картуз с четырехугольным козырьком.

– Здравствуйте, Нарцис Григорьевич, – отвечал Гловацкий.

Лошадь остановилась.

– Охотился?

– Да, половил перепелочков немножко, Петр Лукич.

– Ты сам-то, брат, точно перепел, – улыбаясь, заметил смотритель.

– Да ведь, батюшка, отреспублишь с ними, с беспутниками. Это уж такая дичь низкая.

Нарцис, точно, был похож на перепела. Пыль и полевой сор насели на его росные сапоги и заправленные в голенища панталоны; синий сюртучок его тоже был мокр и местами сильно запачкан.

За плечами у конторщика моталась перепелиная сетка и решето с перепелами.

– Что ж, как полевал?

– Много-таки, батюшка, наловил. Нынче они глупы в такую-то ночь бывают, – сами лезут.

– На что их ловят? – спросила Женни.

– А вот, матушка, на жаркое, пашкеты тоже готовят, и в торговлю идут они.

– Вы ими торгуете?

– Я? – Нет, я так только, для охоты ловлю их. Иной с певом удается, ну того содержу, а то так.

– Выпускаете?

– Нет, на что выпускать? Да вот позвольте вам, сударыня, презентовать на новоселье.

– На что же они мне?

– На что угодно, матушка.

– Ну, бери, Женни, на новоселье.

Нарцис поставил на колени девушки решето с перепелами и, простившись, пошел своей дорогой, а дрожки покатались к городу, который точно вырос перед Гловацкими, как только они обогнули маленький лесной островочек.

– Узнаешь, Женичка? Вон соборная глава, а это Иван-Крестителя купол: узнаешь?

– Какое все маленькое это стало, – задумчиво проговорила Женни.

– Маленькое! Это тебе так кажется после Москвы. Все такое же, как и было. Ты смотри, смотри, вон судьи дом, вон бойницы за городом, где скот бьют, вон каланча. Каланча-то, видишь желтую каланчу? Это над городническим домом.

Женни все смотрела вперед и ручкою безотчетно выпускала одного перепела за другим.

– Э, да ты их почти всех выпустила, – заметил Гловацкий.

– Да. Смотрите-ка, смотрите.

Женни вынула еще одну птичку, и еще одну, и еще одну. На ее лице выражалось совершенное, детское счастье, когда она следила за отлетавшими с ее руки перепелами.

– Ты их всех выпустишь?

– Всех выпущу, – весело ответила она, раскрывая разом пришитый к решету бездонный мешок.

Перепела засуетились, увидя над собою вольное небо вместо грязной холщовой крыши, жались друг к другу, приседали на ножках и один за другим быстро поднимались на воздух.

– Вот теперь славно, – проговорила она, ставя в ноги пустое решето. – Хорошо, что я взяла их.

– Дитя ты, Женичка.

– Отчего же, папа, дитя; пусть они летают на воле.

– Их завтра опять поймают.

– Нет, уж они теперь не попадутся.

Гловацкий засмеялся. В его седой голове мелькнула мысль о страстях, о ловушках, и веселая улыбка заменилась выражением трепетной отцовской заботы.

– Боже, господи милосердый, спаси и сохрани ее! – прошептал он, когда дрожки остановились у ворот уездного училища.

Глава одиннадцатая Колыбельный уголок

Петр Лукич Гловацкий с самого дня своей женитьбы отдавал женин приданный дом внаймы, а сам постоянно обитал в небольшом каменном флигельке подведомственного ему уездного училища. В этот самый каменный флигель двадцать три года тому назад он привез из церкви молодую жену, здесь родилась Женни, отсюда же Женни увезли в институт и отсюда же унесли на кладбище ее мать, о которой так тепло вспоминала игуменья. Училищный флигель состоял всего из пяти очень хороших комнат, выходивших частию на чистенький, всегда усыпанный желтым песком двор уездного училища, а частию в старый густой сад, тоже принадлежащий училищу, и, наконец, из трех окон залы была видна огибавшая город речка Саванка. На дворе училища было постоянно очень тихо, но все-таки двор два раза в день оглашался веселыми, резкими голосами школьников, а уж зато в саду, начинавшемся за смотрительским флигелем, постоянно царила ненарушимая, глубокая тишина. В этот сад выходили два окна залы (два другие окна этой комнаты выходили на берег речки, за которою кончался город и начинался бесконечный заливной луг), да в этот же сад смотрели окна маленькой гостиной с стеклянною дверью и угловой комнаты, бывшей некогда спальнею смотрительши, а нынче будуаром, кабинетом и спальнею ее дочери. Рядом с этой комнатой был кабинет смотрителя, из которого можно было обозревать весь двор и окна классных комнат, а далее, между кабинетом и передней, находился очень просторный покой со множеством книг, уставленных в высоких шкафах, четырехугольным столом, застланным зеленым сукном и двумя сафьянными оттоманками. Только и всего помещения было в смотрительской квартире! Но зато все в ней было так чисто, так уютно, что никому даже в голову не пришло бы желать себе лучшего жилища. А уж о комнате Женни и говорить нечего. Такая была хорошенькая, такая девственная комнатка, что стоило в ней побыть десять минут, чтобы начать чувствовать себя как-то спокойнее, и выше, и чище, и нравственнее. Старинные кресла и диван светлого березового выплавка, с подушками из шерстяной материи бирюзового цвета, такого же цвета занавеси на окнах и дверях; той же березы письменный столик с туалетом и кроватка, закрытая белым покрывалом, да несколько растений на окнах и больше ровно ничего не было в этой комнатке, а между тем всем она казалась необыкновенно полным и комфортабельным покоем.

– Вот твой колыбельный уголочек, Женичка, – сказал Гловацкий, введя дочь в эту комнату. – Здесь стояла твоя колыбелька, а материна кровать вот тут, где и теперь стоит. Я ничего не трогал после покойницы, все думал: приедет Женя, тогда как сама хочет, – захочет, пусть изменяет по своему вкусу, а не захочет, пусть оставит все по-материному.

И Евгения Петровна зажила в своем колыбельном уголке, оставив здесь все по-старому. Только над березовым комодом повесили шитую картину, подаренную матерью Агниєю, и на комод появились несколько книг.

– Возьмешься, Женни, хозяйничать? – спросил Петр Лукич дочь на другой день приезда в город.

– Как же, папа, непременно.

– То-то, как хочешь. У меня хозяйство маленькое и люди честные, но, по-моему, девушке хорошо заняться этим делом.

– Разумеется, папа, разумеется.

– Нынче этим пренебрегают, а напрасно, право, напрасно.

– И нынче, папа, я думаю, не все пренебрегают: это не одинаково.

– Конечно, конечно, не все, только я так говорю... Знаешь, – старческая слабость: все как ты ни гонись, а всё старые-то симпатии, как старые ноги, сзади волокутся. Впрочем, я

не спорщик. Вот моя молодая команда, так те горячо заварены, а впрочем, ладим, и отлично ладим.

– Агния Николаевна очень строго судит молодых.

– Она и старым, друг мой, не дает спуска: брюзжит немножко, а женщина весьма добрая, весьма добрая.

– На брата жаловалась.

Старик добродушно улыбнулся.

– Да, вот чудак-то! Нашел, где свой обличительный метод прикладывать.

– И вы, папа, молодых людей тоже, кажется, недолюбливаете?

– Отчего же, мой друг! Только вот они нынче резковаты становятся, точно уж резковаты.

Может быть, это нам так кажется. Да ведь, право, нельзя все так круто. Старики неправы, что не умеют стерпеть, да и молодежь неправа. У старости тоже есть свои права и свои привычки. Снисходить бы не грешно было немножко. Я естественных наук не знаю вовсе, а все мне думается, что мозг, привыкший понимать что-нибудь так, не может скоро понимать что-нибудь иначе. Так что ж и сердиться. Надо снисходить. Народ говорит, что и у воробья, и у того есть амбиция, а человек, какой бы он ни был, если только мало-мальски самостоятелен, все-таки не хочет быть поставлен ниже всех. Вот хоть бы у нас, – городок ведь небольшой, а таки торговый, есть люди зажиточные, и газеты, и журналы кое-кто почитывают из купечества, и умных людей не обегают. – Старик улыбнулся и сквозь смех проговорил: – А ты знаешь, кто здесь зенит-то просвещения? Это мы, я да учителя... Ну ведь и у нас есть учителя очень молодые, вот, например, Зарницын Алексей Павлович, всего пятый год курс кончил, Вязмитинов, тоже пять лет как из университета; люди свежие и неустанно следящие и за наукой, и за литературой, и притом люди добросовестно преданные своему делу, а посмотри-ка на них! Ты вот их увидишь. Вот как мало-мальски оправившись, позовем их вечерком на чаек. Всё ведь, говорю, люди, которые смотрят на жизнь совсем не так, как наше купечество, да даже и дворянство, а посмотри, какого о них мнения все? – Кого ни спроси, в одно слово скажут: «прекрасные люди». Как-то у них отношения-то к людям все человеческие. Вот тоже доктор у нас есть, Розанов, человек со странностями и даже не без резкостей, но и у этого самые резкости-то как-то затрудняются, право, как бы тебе выразить это... ну, только именно резки, только выказывают прямогу и горячность его натуры, а вовсе не стремятся смять, уничтожить, стереть человека. К его резкости здесь все привыкли и нимало ею не тяготеют, даже очень его любят. А те ведь все как-то... право, уж и совсем не умею назвать. Вот и Ипполит наш, и Звягина сын, и Ступин молодой – второй год приезжают такие мудреные, что гляжу, гляжу на них, да и руки врозь. Как-то будто и дико с ними. Право, я вот теперь смотритель, и, слава богу, двадцать пятый год, и пенсийка уж недалеко: всяких людей видал, и всяких терпел, и со всеми сживался, ни одного учителя во всю службу не представил ни к перемещению, ни к отставке, а воображаю себе, будь у меня в числе наставников твой брат, непременно должен бы искать случая от него освободиться. Нельзя иначе. Детей всех разберут, что ж из этого толку будет. Ты вот познакомишься с ними, сама их разберешь. Особенно рекомендую тебе Николая Степановича Вязмитинова. Дивный человек! Честный, серьезный и умница. Принимай хозяйство, а я их зазову.

Невелико было хозяйство смотрителя, а весь придворный штат его состоял из кухарки Пелагеи да училищного сторожа, отставного унтера Яковлева, исправлявшего должность лакея и ходившего за толстою, обезножившею от настоя смотрительскою лошадью. Женни в два дня вошла во всю домашнюю администрацию, и на ее поясе появился крючок с ключами.

Глава двенадцатая

Прогрессивные люди уездного города

– Господа! вот моя дочь. Женичка! рекомендую тебе моих сотоварищей: Николай Степанович Вязмитинов и Алексей Павлович Зарницын, – проговорил смотритель, представляя раз вечером своей дочери двух очень благопристойных молодых людей.

Оба они на вид имели не более как лет по тридцати, оба были одеты просто. Зарницын был невысок ростом, с розовыми щеками и живыми черными глазами. Он смотрел немножко денди. Вязмитинов, напротив, был очень стройный молодой человек с бледным, несколько задумчивым лицом и очень скромным симпатичным взглядом. В нем не было ни тени дендизма. Вся его особа дышала простотой, натуральностью и сдержанностью.

Женни, сидевшая за столом, на котором весело шумел и посвистывал блестящий тульский самовар, встала, приветливо поклонилась и покраснела. Ее, видимо, конфузила непривычная роль хозяйки.

– Без церемонии, господа, – прошу вас поближе к самовару и к хозяйке, а то я боюсь, что она со мною, стариком, заскучает.

– Как вам не грех, папа, так говорить, – тихо промолвила Женни и совсем зарделась, как маковый цветочек.

– Петр Лукич подговаривается, чтобы ему любезность сказали, что с ним до сих пор люди никогда не скучали, – проговорил, любезно улыбаясь, Зарницын.

– Да, смейтесь, смейтесь! Нет, господа, уж как там ни храбрись, а пора сознаваться, что отстаю, отстаю от ваших-то понятий. Бывало, что ни читаешь, все это находишь так в порядке вещей и сам понимаешь, и с другим станешь говорить, и другой одинаково понимает, а теперь иной раз читаешь этакую там статейку или практическую заметку какую и чувствуешь и сознаешь, что давно бы должна быть такая заметка, а как-то, бог его знает... Просто иной раз глазам не веришь. Чувствуешь, что правда это все, а рука-то своя ни за что бы не написала этого. Даже на подпись-то цензурную не раз глянешь, думаешь: «Господи! уж не так ли махнули, чего доброго?» – А вам это все ничего, даже мало кажется. Я вон прочел в приказах, что Павел Иванович Чичиков в апреле месяце сего года произведен из надворных советников в коллежские советники. Дело самое пустое: есть такой Чичиков, служит, его за выслугу лет и повышают чином, а мне уж черт знает что показалось. Подсунули, думаю, такую историю в насмешку, а за эту насмешку и покатыят на тройках. После-то раздумал, а сначала... Нет, мы ведь другой школы, нам теперь уж на вас смотреть только да внучат качать.

– А знаете, Евгения Петровна, когда именно и по какому случаю последовало отречение Петра Лукича от единомыслия с людьми наших лет? – опять любезно осклабяясь, спросил Зарницын.

– Нет, не знаю. Папа мне ничего не говорил об этом.

– Во-первых, не от единомыслия, а, так сказать, от единоспособности с вами, – заметил смотритель.

– Ну, это все равно, – перебил Зарницын.

– Нет, батюшка Алексей Петрович, это не все равно.

– Ну, положим, что так, только произошло это в Петре Лукиче разом, в один прием.

– Да, разом, – потому что разом я понял, что я человек неспособный делать то, что самым спокойным образом делают другие. Представь себе, Женя: встаю утром, беру принесенные с почты газеты и читаю, что какой-то господин Якушкин имел в Пскове историю с полицейскими – там заподозрили его, посадили за клин, ну и потом выпустили, – ну велика важность! – Конечно, оно неприятно, да мало ли чиновников за клин сажали. Ну выпустят, и уходи скорей, благо отвязались; а он, как вырвался, и ну все это выписывать. Валяет и полицеймейстера,

и вице-губернатора, да ведь как! Точно, – я сам знаю, что в Европе существует гласность, и понимаю, что она должна существовать, даже... между нами говоря... (смотритель оглянулся на обе стороны и добавил, понизив голос) я сам несколько раз «Колокол» читал, и не без удовольствия, скажу вам, читал; но у нас-то, на родной-то земле, как же это, думаю? – Что ж это, обо всем, стало быть, люди смеют говорить? – А мы смели об этом *подумать*? – Подумать, а не то что говорить? – Не смели, да и что толковать о нас! А вот эти господа хохочут, а доктор Розанов говорит: «Я, говорит, сейчас самого себя обличу, что, получая сто сорок девять рублей годового жалованья, из коих половину удерживает инспектор управы, восполняю свой домашний бюджет четырьмястами шестьдесятью рублями взяточобразно». – «Ну, а я, говорю, не обличу себя, что, по недостатку средств, употребляю училищного сторожа, Яковлевича, для собственных услуг. Не могу, говорю, смелости нет, цели не вижу, да и вообще, просто не могу. Я другой школы человек. Я могу переводить Ювенала, да, быть может, вон соберу систематически материалы для истории Абассидов, но этого не могу; я другой школы, нас учили классически; мы литературу не принимали гражданским орудием; мы не приучены действовать, и не по силам нам действовать.»

– Ну, однако, из вашей-то школы выходили и иные люди, не все о маврских династиях размышляли, а тоже и действовали, – заметил Зарницын.

– А, а! Нет, батюшка, – извините. То совсем была не наша школа, – извините.

– Конечно, – в первый раз проронил слово Вязмитинов.

– Точно, виноват, я ошибся, – оговорился Зарницын.

– А теперь вон еще новая школа заходит, и, попомните мое слово, что скоро она скажет и вам, Алексей Павлович, и вам, Николай Степанович, да даже, чего доброго, и доктору, что все вы люди отсталые, для дела не годитесь.

– Это несомненно, – заметил опять Вязмитинов.

– Да вот вам, что значит школа-то, и не годитесь, и пронесут имя ваше яко зло, несмотря на то, что директор нынче все настаивает, чтоб я почаще наворачивался на ваши уроки. И будет это скоро, гораздо прежде, чем вы до моих лет доживете. В наше-то время отца моего учили, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, и мне то же твердили, да и мой сын видел, как я не мог отказываться от головки купеческого сахарцу; а нынче все это двинулось, пошло, и школа будет сменять школу. Так, Николай Степанович?

– По-моему, так.

– А так, так наливай, Женни, по другому стаканчику. Тебе, я думаю, мой дружочек, наскучил наш разговор. Плохо мы тебя занимаем. У нас все так, что поспорим, то будто как и дело сделаем.

– Напротив, папа, зачем вы так думаете? Меня это очень занимает.

– Да! Вон видите, школа-то: месяца нет как с институтской скамьи, а ее занимает. Попробуйте-ка Оленьку Розанову таким разговором занять.

– Ну еще кого вспомнили!

– Чего, батюшка мой? Она ведь вон о самостоятельности тоже изволит рассуждать, а муж-то? С таким мужем, как ее, можно до многого додуматься.

– Да что ж это он хотел быть, а не идет? – заметил Зарницын.

– Идет, идет, – отвечал из передней довольно симпатичный мужской голос, и на пороге залы показался человек лет тридцати двух, невысокого роста, немного сутуловатый, но весьма пропорционально сложенный, с очень хорошим лицом, в котором крупность черт выгодно выкупалась силою выражения. В этом лице выражалась какая-то весьма приятная смесь энергии, ума, прямоты, силы и русского безволя и распушенности. Доктор был одет очень небрежно. Платье его было все пропылено, так что пыль въелась в него и не отчищалась, рубашка измятая, шея повязана черным платком, концы которого висели до половины груди.

– А мы здесь только что злословили вас, доктор, – проговорил Зарницын, протягивая врачу свою руку.

– Да чем же вам более заниматься на гулянках, как не злословием, – отвечал доктор, пожимая мимоходом поданные ему руки. – Прошу вас, Петр Лукич, представить меня вашей дочери.

– Женичка! – наш доктор. Советую тебе заискать его расположение, человек весьма нужный, случайный.

– Преимущественно для мертвых, с которыми имею постоянные дела в течение пяти лет сряду, – проговорил доктор, развязно кланяясь девушке, ответившей ему ласковым поклоном.

– А мы уж думали, что вы, по обыкновению, не сдержите слова, – заметил Гловацкий.

– Уж и по обыкновению! Эх, Петр Лукич! Уж вот на кого Бог-то, на того и добрые люди. Я, Евгения Петровна, позвольте, уж буду искать сегодня исключительно вашего внимания, уповаю, что свойственная человечеству злоба еще не успела достичь вашего сердца и вы, конечно, не найдете самоуслаждения допиливать меня, чем занимается весь этот прекрасный город с своим уездом и даже с своим уездным смотрителем, сосредоточивающим в своем лице половину всех добрых свойств, отпущенных нам на всю нашу местность.

Женни покраснела, слегка поклонилась и тихо проговорила:

– Прикажете вам чаю?

– В награду за все перенесенные мною сегодня муки, позвольте, – по-прежнему несколько театрально ответил доктор.

– Где это вас сегодня разобидели? – спросил смотритель.

– Везде, Петр Лукич, везде, батюшка.

– А например?

– А например, исправник двести раков съел и говорит: «не могу завтра на вскрытие ехать»; фельдшер в больнице бабу уморил ни за што ни про што; двух рекрут на наш счет вернули; с эскадронным командиром разбрался; в Хилкове бешеный волк человек пятнадцать на лугу искусал, а тут немец Абрамзон с женою мимо моих окон проехал, – беда да и только.

Все, кроме Женни, рассмеялись.

– Да, вам смех, а мне хоть в воду, так в пору.

– Что ж вы сделали?

– Что? Исправнику лошадиную кладь закатил и сказал, что если он завтра не поедет, то я еду к другому телу; бабу записал умершею от апоплексического удара, а фельдшеру дал записочку к городничему, чтобы тот с ним позанялся; эскадронному командиру сказал: «убирайтесь, ваше благородие, к черту, я ваших мошенничеств прикрывать не намерен», и написал, что следовало; волка посоветовал исправнику казнить по полевому военному положению, а от Ольги Александровны, взволнованной каретою немца Ицки Готлибовича Абрамзона, ушел к вам чай пить. Вот вам и все!

– Распоряжения все резонные, – заметил Зарницын.

– Ну, какие есть: не хороши, другие присоветуйте.

– Фельдшера поучат, а он через полгода другую бабу отравит.

– Через полгода! Экую штуку сказал! Две бабы в год – велика важность. А по-вашему, не нового ли было бы требовать?

– Конечно.

– Ну, нет, слуга покорный. Этот пару в год отравит, а новый с непривычки по паре в месяц спустит. – Что, батюшка, тут радикальничать-то? Лечить нечем, содержать не на что, да что и говорить! Радикальничать, так, по-моему, надо из земли Илью Муромца вызвать, чтобы сел он на коня ратного, взял в могучие руки булаву стопудовую да и пошел бы нас, православных, крестить по маковкам, не разбирая ни роду, ни сану, ни племени. – А то, что там копать!

Idem per idem⁵ – все будем Кузьма с Демидом. – Нечего и людей смешить. Эх, не слушайте наших мерзостей, Евгения Петровна. Поберегите свое внимание для чего-нибудь лучшего. Вы, пожалуйста, никогда не сидите с нами. Не сидите с моим другом, Зарницыным, он затмит ваш девственный ум своей туманной экономией счастья; не слушайте моего друга Вязмитинова, который погубит ваше светлое мышление гегелианскою ересью; не слушайте меня, преподлейшего в сношениях с зверями, которые станут называть себя перед вами разными кличками греко-российского календаря; даже отца вашего, которому отпущена половина всех добрых качеств нашей проклятой Гоморры, и его не слушайте. Все вас это спутает, потому что все, что ни выйдет из наших уст, или злосмрадное дыхание антихристово, или же хитросплетенные лукавства, уловляющие свободный разум. Уйдите от нас, гадких и вредных людей, и пожалейте, что мы еще, к несчастью, не самые гадкие люди своего просвещенного времени.

– Уйди, уйди, Женичка, – смеясь проговорил Гловацкий, – и вели давать, что ты там нам поесть приготовила. Наш медицинский Гамлет всегда мрачен...

– Без водки, – чего ж было не договаривать! Я точно, Евгения Петровна, люблю закусывать и счел бы позором скрыть от вас этот маленький порок из обширной коллекции моих пороков.

Женни встала и вышла в кухню, а Яковлевич стал собирать со стола чай, за которым, по местному обычаю, всегда почти непосредственно следовала закуска.

⁵ Одно и то же (*лат.*).

Глава тринадцатая

Нежданный гость

В то же время, как Яковлевич, вывернув кренделем локти, нес поднос, уставленный различными солеными яствами, а Пелагея, склонив набок голову и закусив, в знак осторожности, верхнюю губу, тащила другой поднос с двумя графинами разной водки, бутылкою хереса и двумя бутылками столового вина, по усыпанному песком двору уездного училища простучал легкий экипажец. Вслед за тем в двери кухни, где Женни, засучив рукава, разбирала жареную индейку, вошел маленький казачок и спросил:

– Дома ли Евгения Петровна?

– Дома, – ответила Женни, удивленная, кто бы мог о ней осведомляться в городе, в котором она никого не знает.

– Это вы-с? – спросил, ослабившись, казачок.

– Я, я, – кто тебя прислал?

– Барышня-с к вам приехали.

– Какая барышня?

– Барышня, Лизавета Егоровна-с.

– Лиза Бахарева! – в восторге воскликнула Женни, бросив кухонный нож и спеша обтирать руки.

– Точно так-с, оне приехали, – отвечал казачок.

– Боже мой! где же она?

– На кабриолетке-с сидят.

Женни отодвинула от дверей казачка, выбежала из кухни и вспорхнула в кабриолет, на котором сидела Лиза.

– Лиза! голубчик! дуся! ты ли это?

– А! видишь, я тебе, гадкая Женька, делаю визит первая. Не говори, что я аристократка, – ну, поцелуй меня еще, еще. Ангел ты мой! Как я о тебе соскучилась – сил моих не было ждать, пока ты приедешь. У нас гостей полон дом, скука смертельная, просилась, просилась к тебе – не пускают. Папа приехал с поля, я села в его кабриолет покататься, да вот и прикатила к тебе.

– Будто так?

– Право.

Девушки рассмеялись, еще раз поцеловались и обе соскочили с кабриолета.

– Я ведь только на минуточку, Женни.

– Боже мой!

– Ну да. Какая ты чудиха! Там ведь с ума посходят.

– Ну пойдем, пойдем.

– А вы еще не спите?

– Нет, где же спать. Всего девять часов, и у нас гости.

– Кто?

– Учителя и доктор.

– Какой?

– Розанов, кажется, его фамилия.

– Говорят, очень странный.

– Кажется. А ты от кого слышала?

– Мы с папой ходили навещать этого меревского учителя больного, – он очень любит этого доктора и много о нем рассказывал.

– А что этот учитель, лучше ему?

– Да лучше, но он все ждет доктора. Впрочем, папа говорил, что у него сильный ушиб и простуда, а больше ничего.

Девушки перешли через кухню в Женину комнату.

– Ах, как у тебя здесь хорошо, Женни! – воскликнула, осматриваясь по сторонам, Лиза.

– Да, – я очень довольна.

– А я пока очень недовольна.

– У тебя хорошая комната.

– Да, хорошая, но неудобная, проходная.

– Папа! у нас новый гость, – крикнула неожиданно Гловацкая.

– Кто, мой друг?

– Отгадайте!

– Ну, как отгадаешь.

– Мой гость, собственно ко мне, а не к вам.

– Ну, теперь и поготово не отгадаю.

Женни открыла двери, и изумленным глазам старика предстала Лиза Бахарева.

– Лизанька! с кем вы, дитя мое?

– Одна.

– Нет, без шуток. Где Егор Николаевич?

– Дома с гостями, – отвечала, смеясь, Лиза.

– В самом деле вы одне?

– Ах, какой вы странный, Петр Лукич! Разумеется, одна, с казачком Гришей.

Лиза рассказала, как она приехала в город, и добавила, что она на минуточку, что ей нужно торопиться домой.

Смотритель взял Лизу за руки, ввел ее в залу и познакомил с своими гостями, причем гости ограничивались одним молчаливым, вежливым поклоном.

– Не хочешь ли чаю, покушать, Лиза? Съешь что-нибудь; ведь это я хозяйничаю.

– Ты! Ну, для тебя давай, буду есть. Девушки взяли стулья и сели к столу.

– Как у вас весело, Петр Лукич! – заметила Лиза.

– Какое ж веселье, Лизанька? Так себе сошлись, – не утерпел на старости лет похвастаться товарищам дочкою. У вас в Мереве, я думаю, гораздо веселее: своя семья большая, всегда есть гости.

– Да, это правда, а все у вас как-то, кажется, веселее выглядит.

– Это сегодня, а то мы все вдвоем с Женни сидели, и еще чаще она одна. Я, напротив, боюсь, что она у меня заскучает, журнал для нее выписал. Мои-то книги, думаю, ей не по вкусу придутся.

– У вас какие больше книги?

– Разный специальный хлам, а из русских только исторические.

– А у нас целый шкаф все какой-то допотопной французской беллетристики, читать невозможно.

– А я часто видал, что ваши сестрицы читают.

– Да, оне читают, а мне это не нравится. Мы в институте доставали разные русские журналы и все читали, а здесь ничего нет. Вы какой журнал выписали для Женни?

– «Отечественные записки» – старый журнал и все один и тот же редактор, при котором покойник Белинский писал.

– Да, знаю. Мы всё доставали в институте: и «Отечественные записки», и «Современник», и «Русский вестник», и «Библиотеку», все, все журналы. Я просила папу выписать мне хоть один теперь, – мамаша не хочет.

– Отчего?

– Бог ее знает! Говорит, читай то, что читают сестры, а я этого читать не могу, не нравится мне.

– Женни будет с вами делиться своим журналом. А я вот буду просить Николая Степановича еще снабжать Женичку книгами из его библиотечки. У него много книг, и он может руководить Женичку, если она захочет заняться одним предметом. Сам я устарел уж, за хлопотами да дрызгами поотстал от современной науки, а Николаю Степановичу за дочку поклоняюсь.

– Если только Евгения Петровна пожелает и позволит, я буду очень рад служить ей чем могу, – вежливо ответил Вязмитинов.

Женни поблагодарила.

– Как жаль, что и я не могу пользоваться вашими советами! – живо заметила Лиза.

– Отчего же?

– Я живу в деревне, а зимой, вероятно, уедем в губернский город.

– Приезжайте к нам почаще летом, Лизанька. Тут ведь рукой подать, и будете читать с Николаем Степановичем, – сказал Гловацкий.

– В самом деле, Лиза, приезжай почаще.

– Да, – хорошо, как можно будет, а не пустят, так буду сидеть. – Ах, боже мой! – сказала она, быстро вставая со стула, – я и забыла, что мне пора ехать.

– Побудь еще, Лиза, – просила Женни.

– Нет, милая, не могу, и не говори лучше. – А вы что читаете в училище? – спросила она Вязмитинова.

– Я преподаю историю и географию.

– Оба интересные предметы, а вы? – обратилась Лиза к Зарнищину.

– Я учитель математики.

– Фуй, какая ужасная наука. Я выше двойки никогда не получала.

– У вас, верно, был дурной учитель, – немножко рисуясь, сказал Зарнищин.

– Нет, а впрочем, не знаю. Он кандидат, молодой, и некоторые у него хорошо учились. Вот Женни, например, она всегда высший балл брала. Она по всем предметам высшие баллы брала. Вы знаете – она ведь у нас первая из целого выпуска, – а я первая с другого конца. Я терпеть не могу некоторых наук и особенно вашей математики. А вы естественных наук не знаете? Это, говорят, очень интересно.

– Да, но занятие естественными науками тоже требует знания математики.

– Будто! Ведь это для химиков или для других, а так, для любителей, я думаю, можно и без этой скучной математики.

– Право, я не умею вам отвечать на это, но думаю, что в известной мере возможно. Впрочем, вот у нас доктор знаток естественных наук.

– Ну, как не знаток, – проговорил доктор.

– Мне то же самое говорил о вас меревский учитель, – отнеслась к нему Лиза.

– Помада! Он того мнения, что я все на свете знаю и все могу сделать. Вы ему не верьте, когда дело касается меня, – я его сердечная слабость. Позвольте мне лучше осведомиться, в каком он положении?

– Ему лучше, и он, кажется, ждет вас с нетерпением.

– Что ж делать. Я только узнал о его несчастье и не могу тронуться к нему, ожидая с минуты на минуту непременно заседателя, с которым тотчас должен выехать.

– Будто вы сегодня едете? – спросил Гловацкий.

– А как же! Он сюда за мною должен заехать: ведь искушенные волком не ждут, а завтра к обеду назад и сейчас ехать с исправником. Вот вам и жизнь, и естественные, и всякие другие науки, – добавил он, глядя на Лизу. – Что и знал-то когда-нибудь, и то все успел семь раз позабыть.

– Какая странная должность!

– У нас все должности удивят вас, если найдете интерес в них всмотреться. Это еще не самая странная, самую странную занимает Юстин Помада. Он *читает чистописание*.

Все засмеялись.

– Право! Вы его самого расспросите о его обязанностях: он и сам то же самое вам скажет.

– Вот, Женни, фатальный наш приезд! Не успели показаться и чуть-чуть не стоили человеку жизни, – заметила Лиза.

– И еще какому человеку-то! Единственному, может быть, целому человеку на пять тысяч верст кругом.

– А вы, доктор, говорили, что лучший человек здесь мой папа, – проговорила, немножко краснея, Женни.

– Это между нами: я говорил, Петр Лукич солнце, а Помада везде антик. Петр Лукич все-таки чего-нибудь для себя желает, а тот, не сводя глаз, взирает на птицы небесные, как не жнут, не сеют, не собирают в житницы, а сыты и одеты. Я уж его пять лет сряду стараюсь испортить, да ни на один шаг в этом не подвинулся. Вы обратите на него внимание, Лизавета Егоровна, – это дорогой экземпляр, скоро таких уж ни за какие деньги нельзя будет видеть. Он стоит внимания и изучения не менее самого допотопного монстра. Право. Если любите натуру, в изучении которой не можем вам ничем помочь ни я, ни мои просвещенные друзья, сообществом которых мы здесь имеем удовольствие наслаждаться, то вот рассмотрите-ка, что такое под черепом у Юстина Помады. Говорю вам, это будет преинтересное занятие для вашей любознательности, далеко интереснейшее, чем то, о котором возвещает мне приближение вот этого проклятого колокольчика, которого, кажется, никто даже, кроме меня, и не слышит.

Из-за угла улицы, действительно, послышался колокольчик, и, прежде чем он замолк у ворот училища, доктор встал, пожал всем руки и, взяв фуражку, молча вышел за двери. Зарницын и Вязмитинов тоже стали прощаться.

– Боже, а я-то! Что ж это я наделала, засидевшись до сих пор? – тревожно проговорила Лиза, хватаясь за свою шляпку.

– Вы! Нет, уж вы не беспокойтесь: я вашу лошадь давно отослал домой и написал, что вы у нас, – сказал, останавливая Лизу, Гловацкий.

– Что вы наделали, Петр Лукич! Теперь забранят меня.

– Не бойтесь. Нынче больше бы забранили, а завтра поедете на моей лошади с Женичкой, и все благополучно обойдется.

Прощаясь с Женни, Вязмитинов спросил ее:

– Вы знакомы, Евгения Петровна, с сочинениями Гизо?

– Нет, вовсе ничего не знаю.

– Хотите читать этого писателя?

– Пожалуйста. Да вы уж не спрашивайте. Я все прочитаю и постараюсь понять. Это ведь исторический писатель?

– Да.

– Пожалуйста, – я с удовольствием прочту. Гости ушли, хозяйева тоже стали прощаться.

– Ну, что, Женни, как тебе новые знакомые показались? – спросил Гловацкий, целуя дочерину руку.

– Право, еще не думала об этом, папа. Кажется, хорошие люди.

– Она ведь пять лет думать будет, прежде чем скажет, – шутливо перебила Лиза, – а я вот вам сразу отвечу, что каждый из них лучше, чем все те, которые в эти дни приезжали к нам и с которыми меня знакомили.

Смотритель добродушно улыбнулся и пошел в свою комнату, а девушки стали раздеваться в комнате Женни.

Глава четырнадцатая

Семейная картинка в мереве

– Однако, что-то плохо мне, Женька, – сказала Лиза, улегшись в постель с хозяйкою. – Ждала я этого дома, как бог знает какой радости, а...

– Что ж там у вас? – с беспокойным участием спросила Женни.

– Так, – и рассказать тебе не умею, а как-то сразу тяжело мне стало. Месяц всего дома живу, а все, как няня говорит, никак в стих не войду.

– Ты еще не осмотрелась.

– Боюсь, чтоб еще хуже не было. Вот у тебя я с первой минуты осмотрелась. У вас хорошо, легко; а там, у нас, бог знает... мудрено все... очень тяжело как-то, скучно, – невыносимо скучно.

– Что, Петр Лукич? – спросила Лиза, помещаясь на другое утро за чайным столиком против смотрителя.

– Что, Лизанька?

– Боюсь домой ехать.

Смотритель улыбнулся.

– Право! – продолжала Лиза. – Вы не можете себе представить, как мне становится чего-то страшно и неловко.

– Полноте, Лизочка, – я отпущу с вами Женни, и ничего не будет, ни слова никто не скажет.

– Да я не этого и боюсь, Петр Лукич, а как-то это все не то, что я себе воображала, что я думала встретить дома.

– Это вы, дитя мое, не осмотрелись с нами и больше ничего.

– Нет, в том-то и дело, что я с *вами* – то совсем осмотрелась, у вас мне так нравится, а дома все как-то так странно – и суетливо будто и мертво. Вообще странно.

– Потому и странно, что не привыкли.

– А как совсем не привыкну, Петр Лукич?

Смотритель опять улыбнулся и, махнув рукою, проговорил:

– Полноте сочинять, друг мой! – Как в родной семье не привыкнуть.

Тотчас после чаю Женни и Лиза в легких соломенных шляпках впорхнули в комнату Гловацкого, расцеловали старика и поехали в Мерево на смотрительских дрожках.

Был десятый час утра, день стоял прекрасный, теплый и безоблачный; дорога до Мерева шла почти сплошным дубнячком.

Девушки встали с дрожек и без малого почти все семь верст прошли пешком. Свежее, теплое утро и ходьба прекрасно отразились на расположении их духа и на их молодых, свежих лицах, горевших румянцем усталости.

Перед околицей Мерева они оправили друг на друге платья, сели опять на дрожки и в самом веселом настроении подъехали к высокому крыльцу бахаревского дома.

– Встали наши? – торопливо спросила, взбегающая на крыльцо, Лиза у встретившего ее лакея.

– Барин вставши давно-с, чай в зале кушает, а барышни еще не выходили, – отвечал лакей.

Егор Николаевич один сидел в зале за самоваром и пил чай из большого красного стакана, над которым носились густые клубы табачного дыма.

Заслышав по зале легкий шорох женского платья, Бахарев быстро повернулся на стуле и, не выпуская из руки стакана, другою рукою погрозил подходившей к нему Лизе.

– Шалуха, шалуха, что ты наделала! – говорил он с добродушным упреком.

– Что, папочка?

– Я хотел было за тобою ночью посылать, да так уж... Как таки можно?

– Что ж такое, папа! Было так хорошо, мне хотелось повидаться с Женею, я и поехала. Я думала, что успею скоро возвратиться, так что никто и не заметит. Ну виновата, ну простите, что ж теперь делать?

– То-то, что делать? – Шалунья! Я на тебя и не сержусь, а вон смотри-ка, чту с матерью.

– Что с мамашей? – тревожно спросила девушка.

– Она совсем в постель слегла.

– Боже мой! я побегу к ней. Побудь здесь пока, Женни, с папой.

– Ни-ни-ни! – остановил ее Бахарев. – У нее целую ночь были истерики, и она только перед утром глаза сомкнула, не ходи к ней, не буди ее, пусть успокоится.

– Ну, я пройду к сестрам.

– Они тоже обе не спали. Садитесь-ка, вот пейте пока чай, Бог даст все обойдется. Только другой раз не пугай так мать.

За дверями гостиной послышались легкие шаги, и в залу вошла Зинаида Егоровна. Она была в белом утреннем пеньюаре, и ее роскошная, густая коса красиво покоилась в синелевой сетке, а всегда бледное, болезненно прозрачное лицо казалось еще бледнее и прозрачнее от лежавшего на нем следа бессонной ночи. Зинаида Егоровна была очень эффектна: точно средневековая, рыцарственная дама, мечтающая о своем далеком рыцаре.

Тихой, ровной поступью подошла она к отцу, спокойно поцеловала его руку и спокойно подставила ему для поцелуя свой мраморный лоб.

– Что, Зинушка, с матерью? – спросил старик.

– Маме лучше, она успокоилась и с семи часов заснула. Здравствуйте, Женни! – добавила Зина, обращаясь к Гловацкой и протягивая ей руку. – Здравствуй, Лиза.

– Здравствуй, Зина.

– Позвольте, папа, – проговорила Зинаида Егоровна, взявшись за спинку отцовского стула, и села за самовар.

– Чего ты такая бледная сегодня, Зиночка? – с участием осведомилась Лиза.

– Не спала ночь, – мне это всегда очень вредно.

– Отчего ты не спала?

– Нельзя же всем оставить мать.

Лиза покраснела и закусил губку. Все замолчали.

Женни чувствовала, что здесь в самом деле как-то тяжело дышится.

Коридором вошла в залу Софи. Она не была бледна, как Зина, но тоже казалась несколько утомленною.

Лиза заметила это, но уже ни о чем не спросила сестру.

Софи поцеловала отца, потом сестер, потом с некоторым видом старшинства поцеловала в лоб Женни и попросила себе чаю.

– Весело тебе было вчера? – спросила она Лизу, выпив первую чашку.

– Да, очень весело, – несколько нерешительно отвечала Лиза.

И опять все замолчали.

– Что ваш папа делает, Женни? – протянула Зинаида Егоровна.

– Он все в своем кабинете: ведомости какие-то составляет в дирекцию.

– А вы же чем занимались все это время?

– Я? Пока еще ничем.

– Она хозяйничает; у нее все так хорошо, так тихо, что не вышел бы из дома, – сочла нужным сказать Лиза.

– А! это прекрасно, – опять протянула Зинаида Егоровна, и опять все замолчали.

«В самом деле, как здесь скучно!» – подумала Женни, поправив бретели своего платья, и стала смотреть в открытое окно, из которого было видно колосистое поле буревшей ржи.

– Здравствуй, красавица! – проговорила за плечами у Женни старуха Абрамовна, вошедшая с подносом, на котором стояла высокая чайная чашка, раскрашенная синим с золотом.

– Здравствуй, нянечка! – воскликнула с восторгом Женни и, обняв старуху, несколько раз ее поцеловала.

– А ты, проказница, заехала, да и горя тебе мало, – с ласковым упреком заметила Лизе Абрамовна, пока Зина наливала чай в матушкину чашку.

– Ах, полно, няня!

– Что полно? не нравится? Вот пожалуй-ка к маменьке. Она как проснулась, так сейчас о тебе спросить изволила: видеть тебя желает.

Лиза встала и пошла к коридору.

– Ты послушай-ка! Постой, мол, подожди, не скачи стрекозою-то, – проговорила Абрамовна, идя вслед за Лизой по длинному и довольно темному коридору.

Лиза остановилась.

– Ишь, у тебя волосы-то как разбрылялись, – бормотала старуха, поправляя пальцем свободной руки набежавшие у Лизы на лоб волосы. – Ты поди в свою комнату да поправься прежде, причешись, а потом и приходи к родительнице, да не фон-бароном, а покорно приди, чувствуя, что ты мать обидела.

– Что вы, в самом деле, все на меня? – вспльчиво сказала долго сдерживавшаяся Лиза.

– Ах, мать моя! не хвалить ли прикажешь?

– Ничего я дурного не сделала.

– Гостей полон дом, а она, фить! улетела.

– Ну и улетела.

– Как это грустно, – говорила Женни, обращаясь к Бахареву, – что мы с папой удержали Лизу и наделали вам столько хлопот и неприятностей.

Бахарев выпустил из-под усов облако дыма и ничего не ответил. Вместо его на этот вызов отвечала Зина.

– Вы здесь ничем не виноваты, Женичка, и ваш папа тоже. Лиза сама должна была знать, что она делает. Она еще ребенок, прямо с институтской скамьи и позволяет себе такие странные выходки.

– Она хотела тотчас же ехать назад, – это мы ее удержали ночевать. Папа без ее ведома отослал лошадь. Мы думали, что у вас никто не будет беспокоиться, зная, что Лиза с нами.

– Да это вовсе не в том дело. Здесь никто не сердился и не сердится, но скажите, пожалуйста, разве вы, Женни, оправдываете то, что сделала сестра Лиза по своему легкомыслию?

Для Женни был очень неприятен такой оборот разговора.

– Я, право, не знаю, – отвечала она, – кто какое значение придает тому, что Лиза проехалась ко мне?

– Нет, вы, Женичка, будьте прямодушнее, отвечайте прямо: сделали бы вы такой поступок?

– Я не знаю, вздумалось ли бы мне пошалить таким образом, а если бы вздумалось, то я поехала бы. Мне кажется, – добавила Женни, – что мой отец не придал бы этому никакого серьезного значения, и поэтому я нимало не охудала бы себя за шалость, которую позволила себе Лиза.

– Правда, правда, – подхватил Бахарев. – Пойдут дуть да раздувать и надуют и себе всякие лихие болести, и другим беспокойство. Ох ты, господи! господи! – произнес он, вставая и направляясь к дверям своего кабинета, – ты ищешь только покоя, а оне знай истории разводят. И из-за чего, за что девочку разогорчили! – добавил он, входя в кабинет, и так хлопнул дверью, что в зале задрожали стены.

Осторожно, на цыпочках входили в комнату Ольги Сергеевны Зина, Софи и Женни. Женни шла сзади всех.

Оба окна в комнате у Ольги Сергеевны были занавешены зелеными шерстяными занавесками, и только в одном уголок занавески был приподнят и приколот булавкой. В комнате был полусвет. Ольга Сергеевна с несколько расстроенным лицом лежала в кровати. Возле ее подушек стоял кругленький столик с баночками, пузыречками и чашкою недопитого чая. В ногах, держась обеими руками за кровать, стояла Лиза. Глаза у нее были заплаканы и ноздри раздувались.

– Здравствуй, Женичка! – безучастно произнесла Ольга Сергеевна, подставляя щеку наклонившейся к ней девушке, и сейчас же непосредственно продолжала: – Положим, что ты еще ребенок, многого не понимаешь, и потому тебе, разумеется, во многом снисходят; но, помилуй, скажи, что же ты за репутацию себе составишь? Да и не себе одной: у тебя еще есть сестра девушка. Положим опять и то, что Соничку давно знают здесь все, но все-таки ты ее сестра.

– Господи, тамап!⁶ уж и сестре я даже могу вредить, ну что же это? Будьте же, тамап, хоть каплю справедливы, – не вытерпела Лиза.

– Ну да, я так и ожидала. Это цветочки, а будут еще ягодки.

– Да боже мой, что же я такое делаю? За какие вины мною все недовольны? Все это за то, что к Женни на часок проехала без спроса? – произнесла она сквозь душившие ее слезы.

– Лиза! Лиза! – произнесла вполголоса и качая головою Софи.

– Что?

– Оставьте ее, она не понимает, – с многозначительной гримасой простонала Ольга Сергеевна, – она не понимает, что убивает родителей. Штуку отлила: исчезла ночью при сторонних людях. Это все ничего для нее не значит, – оставьте ее.

Все замолчали. Лиза откинула набежавшие на лоб волосы и продолжала спокойно стоять в прежнем положении.

– Пусть свет, люди тяжелыми уроками научат тому; чего она не хочет понимать, – продолжала чрез некоторое время Ольга Сергеевна.

– Да что же понимать, тамап? – совсем нетерпеливо спросила после короткой паузы Лиза. – У тети Агнии я сказала свое мнение, может быть, очень неверное и, может быть, очень некстати, но неужто это уж такой проступок, которым нужно постоянно пилить меня?

– Да, – вздохнув, застонала Ольга Сергеевна. – Одну глупость сделаем, за другую возьмемся, а там за третью, за четвертую и так далее.

– Если уж я так глупа, тамап, то что ж со мной делать? Буду делать глупости, мне же и будет хуже.

– Ах, уйди, матушка, уйди бога ради! – нервно вскрикнула Ольга Сергеевна. – Не распускай при мне этой своей философии. Ты очень умна, просвещенна, образованна, и я не могу с тобой говорить. Я глупа, а не ты, но у меня есть еще другие дети, для которых нужна моя жизнь. Уйди, прошу тебя.

Лиза тихо повернулась и твердою, спокойною поступью вышла за двери.

⁶ мама! (франц.)

Глава пятнадцатая

Перепилили

Гловацкой очень хотелось выйти вслед за Лизой, но она осталась.

Ольга Сергеевна вздохнула, сделала гримасу и, обратясь к Зине, сказала:

– Накапъ мне на сахар гофманских капель, да пошлите ко мне Абрамовну.

Женни воспользовалась этим случаем и пошла позвать няню.

Лиза сидела на балконе, положив свою головку на руку. Глаза ее были полны слез, но она беспрестанно смаргивала эти слезы и глядела на расстилавшееся за рекою колосистое поле.

Женни подошла, поцеловала ее в лоб и села с ней рядом на плетеный диванчик.

– Что там теперь? – спросила Лиза.

– Ничего; Ольга Сергеевна, кажется, хочет уснуть.

– Что, если это так будет всегда, целую жизнь?

– Ну, бог знает что, Лиза! Ты не выдумывай себе, пожалуйста, горя больше, чем оно есть.

– Что ж это, по-твоему, – ничего? Можно, по-твоему, жить при таких сценах? А это первое время; первый месяц, первый месяц дома после шестилетней разлуки! Боже мой! Боже мой! – воскликнула Лиза и, не удержав слез, горько заплакала.

– Полно плакать, Лиза, – уговаривала ее Гловацкая. Лиза не могла удержаться и, зажав платком рот, вся дергалась от сдерживаемых рыданий.

– Перестань, что это! Застанут в слезах, и еще хуже будет. Пойдем пройдемся.

Лиза молча встала, отерла слезы и подала Женни свою руку.

Девушки прошли молча длинную тополевую аллею сада и вышли через калитку на берег, с которого открывался дом и английский сад камергерши Меревой.

– Какой красивый вид отсюда! – сказала Гловацкая.

– Да, красивый, – равнодушно отвечала Лиза, снова обтирая платком слезы, наполнившие ее глаза.

– А оттуда, из ее окон, я думаю, еще лучше.

– Бог знает, – поле и наш дом, должно быть, видны. Впрочем, я, право, не знаю, и меня теперь это вовсе не занимает.

Девушки продолжали идти молча по берегу.

– Ваши с нею знакомы? – спросила Женни, чтобы не давать задумываться Лизе, у которой беспрестанно навертывались слезы.

– С кем? – нетерпеливо спросила Лиза.

– С Меревой.

– Знакомы.

Лиза опять обтерла слезы.

– А ты познакомилась?

– С Меревой?

– Да.

– Нет; мы ходили к ней с папой, да она нездорова что ль-то была: не приняла. Мы только были у Помады, навещали его. Хочешь, зайдем к Помаде?

– Я очень рада была бы, Лиза, но как же это? Идти одним, к чужому мужчине, на чужой двор.

– Да что ж такое? Ну что ж с нами делается?

– Ничего не делается, а пойдут толковать.

– Что ж толковать? Больного разве нельзя навесить? Больных все навещают. Я же была у него с папой, отчего же мне теперь не пойти с тобою?

– Нет, я не пойду, Лиза, именно с тобою и не пойду, потому что здоровья мы ему с собою не принесем, а тебе уж так достанется, что и места не найдешь.

– Да, вот это-то! – протянула, насупив бровки, Лиза и опять задумалась.

– О чем ты все задумываешься? Брось это все, – говорила Женни.

– Да, брось! Хорошо тебе говорить: «брось», а сама бы попробовала слушать эти вечные реприманды. И от всех, от всех, решительно от всех. Ах ты боже мой! да что ж это такое! И мать, и Зина, и Соничка, и даже няня. Только один отец не брюзжит, а то все, таки решительно все. Шаг ступлю – не так ступила; слово скажу – не так сказала; все не так, все им не нравится, и пойдет на целый день разговор. Я хотела бы посмотреть на тебя на моем месте; хотела бы видеть, отскакивало ли бы от тебя это обращение, как от тебя все отскакивает.

– Чего ж ты сердишься, Лиза? Я ведь не виновата, что у меня такая натура. Я ледышка, как вы называли меня в институте, ну и что ж мне делать, что я такая ледышка. Может быть, это и лучше.

– Я буду очень рада, если тебя муж будет бить, – совершенно забывшись, проговорила Лиза.

Женни побледнела, как белый воротничок ее манишки, и дернула свою руку с локтя Лизы, но тотчас же остановилась и с легким дрожанием в голосе сказала:

– Даже будешь рада!

– Да, буду рада, очень буду рада!

Женни опять подернуло, и ее бледное лицо вдруг покрылось ярким румянцем.

– Ты взволнована и сама не знаешь, что говоришь, на тебя нельзя даже теперь сердиться.

– Конечно, я глупа; чего ж на мои слова обращать внимание, – отвечала ей с едкой гримасой Лиза.

– Не придирайся, пожалуйста. Недостает еще, чтобы мы вернулись, надувшись друг на друга: славная будет картина и тоже кстати.

– Нет, ты меня бесишь.

– Чем это?

– Твоим напускным равнодушием, этой спокойностью какою-то. Тебе ведь отлично жить, и ты отлично живешь: у тебя все ладится, и всегда все будет ладиться.

– Ну, так ты и желаешь, чтобы, для разнообразия в моей жизни, меня бил мой муж?

– Не бил, а так вот пилил бы. Да ведь тебе что ж это. Тебе это ничего. Ты будешь пешкою у мужа, и тебе это все равно будет, – будешь очень счастлива.

Женни спокойно молчала. Лиза вся дрожала от негодования и, насупив брови, добавила:

– Да, это так и будет.

– Что это такое?

– Что будешь тряпкой, которой муж будет пыль стирать.

Женни опять немножко побледнела и произнесла:

– Ну, это мы посмотрим.

– Нечего и смотреть: все так видно.

– Не станем больше спорить об этом. Ты оскорблена и срываешь на мне свое сердце. Мне тебя так жаль, что я и сказать не умею, но все-таки я с тобой, для твоего удовольствия, не поссорюсь. Тебе нынче не удастся вытянуть у меня дерзость; но вспомни, Лиза, нянину пословицу, что ведь «и сырые дрова загораются».

– И пусть! – еще более насупясь, отвечала Лиза.

Гловацкая не ответила ни слова и, дойдя до перекрестной дорожки, тихо повернула к дому.

Лиза шла рядом с подругой, все сильнее и сильнее опираясь на ее руку.

Так они дошли молча до самого сада. Пройдя так же молча несколько шагов по саду, у поворота к тополевой аллее Лиза остановилась, высвободила свою руку из руки Гловацкой и, кусая ноготок, с теми же, однако, насупленными бровками, сказала:

– Ты на меня сердишься, Женни? Я перед тобою очень виновата; я тебя обидела, прости меня.

Большие глаза Гловацкой и ее доброе лицо приняли выражение какого-то неопisanного счастья.

– Боже мой! – воскликнула она, – какое чудо! Лиза Бахарева первая попросила прощения.

– Да, прости меня, я тебя очень обидела, – повторила Лиза и, бросаясь на грудь Гловацкой, зарыдала, как маленький ребенок. – Я скверная, злая и не стою твоей любви, – лепетала она, прижимаясь к плечу подруги.

У Гловацкой тоже набежали слезы.

– Полно лгать, – говорила она, – ты добрая, хорошая девушка; я теперь тебя еще больше люблю.

Лиза мало-помалу стихала и наконец, подняв голову, совсем весело взглянула в глаза Гловацкой, отерла слезы и несколько раз ее поцеловала.

– Пойдем, умоемся, – сказала Женни. Девушки снова вышли из сада и, взойдя на плотик, умылись и утерлись носовыми платками.

– Вот если бы нас видели! – сказала Лиза с улыбкой, которая плохо шла к ее заплаканным глазам.

– Ну и что ж, ничего бы не было, если бы и видели.

– Как же! Ах, Женька, возьми меня, душка, с собою. Возьми меня, возьми отсюда. Как мне хорошо было бы с вами. Как я счастлива была бы с тобою и с твоим отцом. Ведь это он научил тебя быть такой доброю?

– Нет, я ведь так родилась, такая ледышка, – смеясь, отвечала Женни.

– Да, как же! Нет, это тебя выучили быть такой хорошей. Люди не рождаются такими, какими они после выходят. Разве я была когда-нибудь такая злая, гадкая, как сегодня? – У Лизы опять навернулись слезы. Она была уж очень расстроена: кажется, все нервы ее дрожали, и она ежеминутно снова готова была расплакаться.

Женни заметила это и сказала:

– Ну, перестанем толковать, а то опять придется умываться.

– Что ж, я говорю правду, мне это больно; я никогда не забуду, что сказала тебе. Я ведь и в ту минуту этого не чувствовала, а так сказала.

– Ну, разве я этого не знаю.

– То-то, ты не подумай, что я хоть на минуту тебя не любила.

Лиза опять расплакалась.

– Ты забудь, забудь, – говорила она сквозь слезы, – потому что я... сама ничего не помню, что я делаю. Меня... так сильно... так сильно... так сильно оби... обидели. Возьми... возьми к себе, друг мой! ангел мой хранитель... сох... сохрани меня.

– Что ты болтаешь, смешная! Как я тебя возьму? Здесь у тебя семья: отец, мать, сестры.

– Я их буду любить, я их еще... больше буду лю... бить. Тут я их скорее перестану любить. Они, может быть, и доб... рые все, но они так странно со мною об... обра... щаются. Они не хотят понять, что мне так нельзя жить. Они ничего не хотят понимать.

– Ты только успокойся, перестань плакать-то. Они узнают, какая ты добрая, и поймут, как с тобою нужно обращаться.

– Н... нет, они не поймут; они никог... да, ни... ког... да не поймут. Тетка Агния правду говорила. Есть, верно, в самом деле семьи, где еще меньше понимают, чем в институте.

Лиза, расстроенная до последней степени, неожиданно бросилась на колени пред Гловацкою и в каком-то исступлении проговорила:

– Ангел мой, возьми! Я здесь их возненавижу, я стану злая, стану демоном, чудовищем, зверем... или я... черт знает, чего наделаю.

Глава шестнадцатая

Перчатка поднята

Узнав, что муж очень сердится и начинает похлопывать дверями, Ольга Сергеевна решилась выздороветь и выйти к столу. Она умела доезжать Егора Николаевича истерическими фокусами, но все-таки сильно побаивалась заходить далеко. Храбрый экс-гусар, опутанный слезливыми бабами, обыкновенно терпеливо сносил подобные сцены и по беспредельной своей доброте никогда не умел остановить их прежде, чем эти сцены совершенно выводили его из терпения. Но зато, когда визг, стоны, суетливая беготня прислуги выводили его из терпения, он, громко хлопнув дверью, уходил в свою комнату и порывисто бежал по ней из угла в угол. Если же еще с полчаса истерия в доме не прекращалась, то двери кабинета обыкновенно с шумом распахивались, Егор Николаевич выбегал оттуда дрожащий и с растрепанными волосами. Он стремительно достигал комнаты, где истеричничала Ольга Сергеевна, громовым словом и многознаменательным движением чубука выгонял вон из этой комнаты всякую живую душу и затем держал к корчившей ноги больной такую речь:

– Вам мешают успокоиться, и я вас запру на ключ, пока вы не перестанете.

Затем экс-гусар выходил за дверь, оставляя больную на постели одну-одинешеньку. *Manu intrepida*⁷ поворачивал он ключ в дверном замке и, усевшись на первое ближайшее кресло, дымил, как паровоз, выкуривая трубку за трубкой до тех пор, пока за дверью не начинали стихать истерические стоны. Сначала, когда Ольга Сергеевна была гораздо моложе и еще питала некоторые надежды хоть раз выйти с достоинством из своего замкнутого положения, Бахареву иногда приходилось долгонько ожидать конца жениных припадков; но раз от раза, по мере того как взбешенный гусар прибегал к своему оригинальному лечению, оно у него все шло удачнее. Не успеет, бывало, Бахарев, усевшись у двери, докурить первой трубки, как уже вместо беспорядочных облаков дыма выпустит изо рта стройное, правильное колечко, что обыкновенно служило несомненным признаком, что Егор Николаевич ровно через две минуты встанет, повернет обратно ключ в двери, а потом уйдет в свою комнату, велит запрягать себе лошадей и уедет дня на два, на три в город заниматься делами по предводительской канцелярии и дворянской опеке. У Егора Николаевича никак нельзя было добиться: подозревает ли он свою жену в истерическом притворстве, или считает свой способ лечения надежным средством против действительной истерики, но он неуклонно следовал своему правилу до счастливого дня своей серебряной свадьбы. А теперь, когда Абрамовна доложила Ольге Сергеевне, что «барин хлопнули дверью и ушли к себе», Ольга Сергеевна опасалась, что Егор Николаевич не изменит себе и до золотой свадьбы. Хорошо зная, что должно наступить после маневра, о котором ей доложила Абрамовна, Ольга Сергеевна простонала:

– Только не бегайте, бога ради, не суетитесь: голову всю мне разломали своим бестолковым снованьем. Мечутся без толку из угла в угол, словно угорелые кошки, право.

Произнеся такую речь, Ольга Сергеевна будто успокоилась, полежала и потом спросила:

– А кормили ли сегодня кошечек-то?

– Как же, тамап, кормили, – отвечала Софи.

– То-то. Матузалевне надо было сырого мясца дать: она все еще нездорова; ее не надо кормить вареным. Дайте-ка мне туфли и шлафор, я попробую встать. Бока отлежала.

Проба оказалась удачной. Ольга Сергеевна встала, перешла с постели на кресло и не надела белого шлафора, а потребовала темненький капотик.

– Скучно здесь, – говорила она, посматривая на дверь, – дайте я попробую выйти к столу.

⁷ бесстрашной рукой (*лат.*).

Вторая проба была опять удачна не менее первой. Ольга Сергеевна безопасно достигла столовой, поклонилась мужу, потом помолилась перед образом и села за стол на свое обыкновенное место.

Взглянув на заплаканные глаза Лизы, она сделала страдальческую мину матери, оскорбленной непочтительною дочерью, и стала разливать суп с кнелью.

Егор Николаевич был мрачен и хранил гробовое молчание. Глядя на него, все тоже молчали.

– Что вы так мало кушаете, Женичка? – обратился, наконец, в середине обеда Бахарев к Гловацкой.

– Благодарю вас, я сыта.

– То-то, вы кушайте по-нашему, по-русски, вплотную. У нас ведь не то что в институте: «Дети! дети! чего вам? Картооофелллю, картоооффелллю» – пропищал, как-то весь сократившись, Бахарев, как бы подражая в этом рассказе какой-то директрисе, которая каждое утро спрашивала своих воспитанниц: «Дети, чего вам?» А дети ей всякое утро отвечали хором: «Картофелю».

Все были очень рады, что буря проходит, и все рассмеялись. И заплаканная Лиза, и солидная Женни, и рыцарственная Зина, бесцветная Софи, и даже сама Ольга Сергеевна не могла равнодушно смотреть на Егора Николаевича, который, продекламировав последний раз «картооофелллю», остался в принятом им на себя сокращенном виде и смотрел робкими институтскими глазами в глаза Женни.

– Это вовсе не похоже; никогда этого у нас не было, – смеясь, отвечала Бахареву Женни.

– Как? как не было? Не было этого у вас, Лизок? Не просили вы себе всякий день кааартоооффеллю!

– Нет, папа: нас хорошо кормили. Теперь в институтах хорошо кормят.

– Ну, рассказывайте, *хорошо*. Знаем мы это хорошо! На десять штук фунт мяса сварят, а то все кааартоооффеллю.

– Да нет же, папа, не знаете вы, – шутливо возразила Лиза.

– Реформы, значит, реформы, и до вас дошли благотельные реформы?

– Да, теперь по всему заметно, что в институтах иные порядки настали. Прежних порядков уж нет, – как-то двусмысленно заметила Ольга Сергеевна.

– Да вот я смотрю на Евгению Петровну: кровь с молоком. Если бы старые годы – с сердечком распротись.

– Стыдно подсмеиваться, Егор Николаевич, – заметила Женни и покраснела.

– А краснеют-то нынешние институтки еще так же точно, как и прежние, – продолжал шутить старик.

– Не все, папа, – весело заметила Лиза.

– Да, не все, – вздохнув и приняв угнетенный вид, подхватила Ольга Сергеевна. – Из нынешних институток есть такие, что, кажется, ни перед чем и ни перед кем не покраснеют. О чем прежние и думать-то, и рассуждать не умели, да и не смели, в том некоторые из нынешних с старшими зуб за зуб. Ни советы им, ни наставления, ничто не нужно. Сами всё больше других знают и никем и ничем не дорожат.

Лиза взглянула на Гловацкую и сохранила совершенное спокойствие во все время, пока мать загинала ей эту шпильку.

За чаем шпигованье повторилось снова.

– Поедемте на озеро, Женичка. Вы ведь еще не были на нашем озере. Будем там ловить рыбу, сварим уху и приедем, – предложил Бахарев.

– Нет, благодарю вас, Егор Николаевич, я не могу, я сегодня должна быть дома.

– Полноте, что вам там дома с своим стариком делать? У нас вот будет какой гусарчик Канивцов – чудо!

- Бог с ним!
- Сонька его совсем заполонила, разбойница, но вы... одно слово: *veni, vidi, vici*.
- Что это значит?
- Пришел, увидел, победил.
- Оооо! Мне этого пока вовсе не нужно.
- Те-те-те, не нужно! Все так говорят – не нужно, а женишка порядочного сейчас и заплетут в свои розовые сети.
- Я вам не сказала, что мне вовсе не нужно, а я говорю, мне это *пока* не нужно.
- А, – рассмотреть хотите, это другое дело. Ну, а с нами-то нынче оставайтесь.
- Не могу, Егор Николаевич.
- Лиза, что ж ты не просишь?
- Лиза очень боялась этого разговора и чуть внятно проговорила:
- Оставайся, Женни!
- Не могу, Лиза, не проси. Ты знаешь, уж если бы было можно, я не отказала бы себе в удовольствии и осталась бы с вами.
- Вы не по-дружески ведете себя с Лизой, Женичка, – начала Ольга Сергеевна. – Превжние институтки тоже так не поступали. Превжние всегда старались преввосходить одна другую в великодушии.
- Если одна пила рюмку уксуса, то другая две за нее, – подхватил развеселившийся Бахарев и захохотал.
- Да, – продолжала Ольга Сергеевна, – а вы вот не так. Лиза у вас ночевала по вашему приглашению, а вы не удовлетворяете ее просьбы.
- Лиза во время этого разговора старалась смотреть как можно спокойнее.
- Лизанька, вероятно, и совсем готова была бы у вас остаться, а вы не хотите подарить ей одну ночьку.
- Я не могу, Ольга Сергеевна.
- Отчего же она могла?
- У меня хозяйство, я ничем не распорядилась.
- А, вы хозяйничаете!
- Не могу выдерживать. Я и за обедом едва могла промолчать на все эти задиранья. Господи! укроти ты мое сердце! – сказала Лиза, выйдя из-за чая.
- Ольга Сергеевна прямо из-за самовара ушла к себе; для Гловацкой велели запрягать ее лошадь, а на балкон подали душистый розовый варенец.
- Вся семья, кроме старухи, сидела на балконе. На дворе были густые летние сумерки, и из-за меревского сада выплывала красная луна.
- Ах, луна! – воскликнула Лиза.
- Что это, Лиза! точно вы не видали луны, – заметила Зинаида Егоровна.
- И этого нельзя? – сухо спросила Лиза.
- Не нельзя, а смешно. Тебя прозовут мечтательницею. Зачем же быть смешною? К крыльцу подали дрожки Гловацкого, и Женни стала надевать шляпку.
- Надолго теперь, Женни?
- Не знаю, Лизочка. Я постараюсь увидеть тебя поскорее.
- Вы уж и замуж без Лизы не выходите, – смеясь, проговорил Бахарев.
- Я уж вам сказала, Егор Николаевич, что мы с Лизой еще и не собираемся замуж. Бахарев продекламировал:

Золотая волюшка
Мне милей всего,
Не надо мне с волею

В свете ничего.

– Так ли?

– Именно так, Егор Николаевич.

– И ты тоже, Лизок?

– О да, тысячу раз да, папа.

– Ну вот, говорят, институтки переменялись! Всё те же, и всё те же у них песенки.

Егор Николаевич снова расхохотался. Женни простилась и вышла. Зина, Софи и Лиза проводили ее до самых дрожек.

– Какая ты счастливица, Женни: ехать ночью одной по лесу. Ах, как хорошо!

– Боже мой! что это, в самом деле, у тебя, Лиза, то ночь, то луна, дружба... тебя просто никуда взять нельзя, с тобою засмеют, – произнесла по-французски Зинаида Егоровна.

Женни заметила при свете луны, как на глазах Лизы блеснули слезы, но не слезы горя и отчаяния, а сердитые, непокорные слезы, и прежде чем она успела что-нибудь сообразить, та откинула волосы и резко сказала:

– Ну, однако, это уж надоело. Знайте же, что мне все равно не только то, что скажут обо мне ваши знакомые, но даже и все то, что с этой минуты станете обо мне думать сами вы, и моя мать, и мой отец. Прощай, Женни, – добавила она и шибко взбежала по ступеням крыльца.

– Однако какие там странные вещи, в самом деле, творятся, папа, – говорила Женни, снимая у себя в комнате шляпку.

– Что такое, Женюша?

Гловацкая рассказала отцу все происходившее на ее глазах в Мереве.

– Это скверно, – заметил старик. – Чудаки, право! люди не злые, особенно Егор Николаевич, а живут бог знает как. Надо бы Агнесе Николаевне это умнечко шепнуть: она направит все иначе, – а пока Христос с тобой – иди с богом спать, Женюшка.

Глава семнадцатая

Слово с весом

Мать Агния у окна своей спальни вязала нитяной чулок. Перед нею на стуле сидела сестра Феоктиста и разматывала с моталки бумагу. Был двенадцатый час дня.

– Это, конечно, делает тебе честь, – говорила игуменья, обращаясь к сестре Феоктисте: – а все же так нельзя. Я просила губернатора, чтобы тебе твое, что следует, от свекрови истребовали и отдали.

Феоктиста не отрывала глаз от работы и молчала.

Голос игуменьи на этот раз был как-то слабее обыкновенного: ей сильно нездоровилось.

– Пока ты здорова, конечно, можешь и без поддержки прожить, – продолжала мать Агния, – а помилуй бог, болезни, – тогда что?

– Я, матушка, здорова, – тихо отвечала Феоктиста.

– Ну, да. Я об этом не говорю теперь, а ведь жив человек живое и думает. Мало ли чем Господь может посетить: тогда копеечка-то и понадобится.

Феоктиста вздохнула.

– И опять, что не в коня корм-то класть, – рассуждала мать Агния. – Другое дело, если бы оставила ты свое доброе родным, или не родным, да людям, которые понимали бы, что ты это делаешь от благородства, и сами бы поучались быть поближе к добру-то и к Богу. Тут бы и говорить нечего: дело хорошее. А то что из всего этого выходит? Свекровь твоя уж, наверное, тебя же дурой считает, да и весь город-то, мужланы-то ваши, о тебе того же мнения. «Вон, мол, дуру-то как обделали», да и сами того же на других, тебе подобных овцах, искать станут. Подумай сама, не правду ли я говорю?

– Не знаю, матушка, – краснея, проронила Феоктиста.

В келье наступило молчание.

Игуменья быстро шевелила чулочными прутками и смотрела на свою работу, несколько надвинув брови и о чем-то напряженно размышляя. Феоктиста также усердно работала, и с полчаса в келье только и было слышно, что щелканье чулочных спиц да ровный, усыпляющий шум деревянной моталки.

– Дома мать-игуменья? – произнес среди этой тишины мужской голос в передней.

Игуменья подняла на лоб очки и, относясь к Феоктисте, проговорила:

– Кто бы это такой?

Феоктиста немедленно встала и в комнате девочек встретила с Бахаревым, который шутливо погрозил ей пальцем и вошел к игуменье.

– Здравствуй, сестра! – произнес он, целуя руки матери Агнии.

– Здравствуй, Егор! – отвечала игуменья, снова надев очки и снова зашевелив стальными спицами.

– Как живешь-можешь?

– Что мне делается? Живу, Богу молюсь да хлеб жую. Как вы там живете?

– И мы живем.

– Ну и хорошо. К губернатору, что ли, приехал?

– Да и делишки кое-какие собрались, и с тобой захотелось повидаться.

– Спасибо. – Чаю хочешь?

– Пожалуй.

– Феоктиста! скажи там, – распорядилась игуменья. Феоктиста вышла и через минуту вошла снова.

– Эх, сестра Феоктиста, – шутил Бахарев, – как на вас и смотреть, уж не знаю!

– Как изволите? – спросила спокойно ничего не расслышавшая Феоктиста, но покраснела, зная, что Бахарев любит пройтись насчет ее земной красоты.

– Полно врать-то! Тоже любезничать: седина в голову, а бес в ребро, – с поддельным неудовольствием остановила его игуменья и, посмотрев с артистическим наслаждением на Феоктисту, сказала: – Иди пока домой. Я тебя позову, когда будет нужно.

Монахиня поставила в уголок моталку, положила на нее клубок, низко поклонилась, проговорила: «Спаси вас Господи!» – и вышла.

Брат с сестрою остались вдвоем. Весноватая келейница подала самовар.

– Ну, что ж твои там делают? – спросила игуменья, заварив чай и снова взявшись за чулочные спицы.

– Да что? Не знаю, как тебе рассказать.

– Что ж это за мудрость такая!

– С которого конца начать-то, говорю, не знаю. Игуменья подняла голову и, не переставая стучать спицами, пристально посмотрела через свои очки на брата.

– Жена ничего, – хворала немножко, – проговорил Бахарев, – а теперь лучше; дети здоровы, слава богу.

– А Зинин муж? – спросила мать Агния, смотря на брата тем же пронизательным взглядом и по-прежнему стуча спицами.

– Да вот, думал, не встречу ли его здесь.

– А она у вас все?

– У нас пока.

Игуменья покачала неодобрительно головой и стала поднимать спущенную петлю.

– Странная ты, сестра! Где же ей в самом деле быть?

– Где? У мужа, я думаю.

– Да ведь вот поди же.

Бахарев в недоумении развел руками.

– Что ж такое?

– Не ладят всё, бог их знает.

– А вы приглубивайте дочку-то. Поди, мол, сюда: ты у нас паинька, – кошка дура.

– Да ведь что ж делать?

– К мужу отправить. Отрезанный ломоть к хлебу не пристаёт. Раз бы да другой увидала, что нельзя глупить, так и обдумалась бы; она ведь не дура. А то маменька с папенькой сами потворствуют, бабенка и дурит, а потом и в привычку войдет.

– Да я, сестра, ничего, я даже...

– Ты даже, – хорошо. Постой-ка, батюшка! Ты, вон тебе шестой десяток, да на хорошеньких-то зеваешь, а ее мужу тридцать лет! тут без греха грех. – Да грех-то еще грехом, а то и сердечико заговорит. От капризных-то мужей ведь умеют подбирать: тебе, мол, милая, он не годится, ну, дескать, мне подай. Вы об этом подумали с нежной маменькой-то или нет, – а?

– Да я, сестра...

– Что, братец?

– Я с тобой совершенно согласен, даже хотел...

– Да, верно, хотей не велел – едко подсказала игуменья.

– Да полно тебе, сестра! Я говорил, что это нехорошо.

– Это гадко, а не просто нехорошо. Парень слоняется из дома в дом по барынькам да сударынькам, везде ему рады. Да и отчего ж нет? Человек молодой, недурен, говорить не дурак, – а дома пустые комнаты да женины капризы помнятся; эй, глядите, друзья, попомните мое слово: будет у вас эта милая Зиночка ни девушка, ни вдова, ни замужняя жена.

– Да она возвратится, возвратится.

– Когда ж это она возвратится?

– Да вот...

– Когда муж приедет да станет ублажать, ручки лизать да упрашивать? А как, наконец, и не станет? – значительно моргнув одним глазом, закончила мать Агния.

Бахарев молчал.

– Переломить надо эту фанаберию-то. Пусть раз спесь-то свою спрячет да вернется к мужу с покорной головой. А то – эй, смотри, Егор! – на целый век вы бабенку сгубите. И что ты-то, в самом деле, за колпак такой.

– Я, право, сестра, сам бы давно ее спровадил, да ведь знаешь мой характер дурацкий, сцен этих смерть боюсь. Ведь из себя выйду, черт знает что наделаю.

– Да что тут за сцены! Велел тихо-спокойно запряхь карету, объявил рабе божией: «поезжай, мол, матушка, честью, а не поедешь, повезут поневоле», вот и вся недолга. И поедет, как увидит, что с ней не шутки шутят, и с мужем из-за вздоров разъезжаться по пяти раз на год не станет. Тебя же еще будет благодарить и носа с прежними штуками в отцовский дом, срамница этакая, не покажет. – А Лиза как?

Бахарев опять развел руками и, вытянув вперед губы, отвечал:

– Да тоже как-то все...

– А-а, уж началось! Я так скоро не ожидала. – Ну, что же такое?

– С матерью, с сестрами все как-то не поладит. Она на них, оне на нее... ничего не беру. Поступки такие какие-то странные...

– Например?

– Да вот, например, недели три тому назад ночью улетела.

– Куда это она могла улететь? Расскажи, батюшка мой, толком.

Игуменья положила на колени работу и приготовилась слушать.

Бахарев рассказал известную нам историю Лизиной поездки к Гловацким и остановился на отъезде Женни.

– Ну, а после ж что было? – спокойно спросила игуменья.

– За сущие пустяки, за луну там, что ли, избрала Соню и Зину, ушла, не прощаясь, наверх, двое суток высидела в своей комнате; ни с кем ни одного слова не сказала.

Игуменья улыбнулась и опять сказала:

– Ну?

– Ну, и так до сих пор: кроме «да» да «нет», никто от нее ни одного слова не слышал. Я уж было и покричал намедни, – ничего, и глазом не моргнула. Ну, а потом мне жалко ее стало, приласкал, и она ласково меня поцеловала. – Теперь вот перед отъездом моим пришла в кабинет сама (чтобы не забыть еще, право), просила ей хоть какой-нибудь журнал выписать.

– Какой же?

– Журнал для девиц, что ль-то: там у меня записано. Жена ей выбрала.

– А, Ольга Сергеевна! Ну, она во всем знаток!

– Что ж, все-таки мать.

– Да кто ж говорит!

Игуменья медленно приподнялась, отворила старинную шифоньерку и, достав оттуда тридцать рублей, положила их перед братом, говоря:

– Вот сделай-ка мне одолжение, потрудись выписать Лизе два хорошие журнала. Она не дитя, чтобы ей побасенки читать.

– Да зачем же это, сестра? На что ж твои деньги? Разве я сам не могу выписать для дочери?

– Ну, ты сам можешь делать что тебе угодно, а это прошу сделать от меня. А не хочешь, я и сама пошлю на почту, – добавила она, протягивая руку к лежащим деньгам.

– Нет, зачем же ты сердишься? Я пошлю завтра же.

– Да, пожалуйста, и Лизе скажи, что это я ей посылаю. Пусть на здоровье читает. Лучше, чем стонать-то да с гусарами брындахлыстничать.

– Ну, уж ты пошла!

– Да, поехала.

– Какая ты право, Агнеса! К тебе едешь за советом, за добрым словом, а ты все ищешь, как бы уколоть, уязвить да обидеть.

Игуменья только переменяла спицу и начала новый ряд.

– Мне самому кажется, что с Лизой нужно как-то не так.

Игуменья спокойно вязала.

– Как она тебе, сестра, показалась?

– Да что ж – как мне? Надо знать, как она вам показалась? Вы для нее больше, чем я.

– Да мне кажется, она добрая девочка, только с душком.

– То есть с характером, скажи.

– Тебе она, видно, понравилась?

– Хорошая девушка: прямая и смелая.

– Это еще институтское.

– Нет, это кровное, – с некоторою, едва, впрочем, заметной гордостью возразила игуменья.

– Вот ты все толкуешь, сестра, о справедливости, а и сама тоже несправедлива. Сонечке там или Зиночке все в строку, даже гусаров. Ведь не выгонять же молодых людей.

– Молодых повес, скажи, – перебила игуменья.

– Ну, будь по-твоему, ну, повес; а все же не выгонять их из дому, когда девушки в доме.

Игуменья промолчала.

– И опять, отчего же так они все повесы? Есть и очень солидные молодые люди.

– Солидные молодые люди дело делают: прежде хорошенько учатся, а потом хорошенько служат; а эти-то кое-как учились и кое-как служить норовят; лишь бы выслужиться. Повесы, да и только.

– Однако же и Гловацкий молодой тебе не понравился, а ведь он по ученой части идет.

– И по ученой части дураков разве мало? Я думаю, пожалуй, не меньше, чем где-нибудь.

– Ну, о нем, я думаю, этого нельзя сказать, – критикан большой, это точно.

– Дурак он большой: надел на себя какую-то либеральную хламиду и несет вздор, благо попал в болото, где и трясогуз – птица. Как это ты, в самом деле, опустился, Егор, что не умеешь ты различить паву по перьям. Этот балбеска Ипполит, Зина с Соней, или Лиза, это у тебя все на одном кругу вертится. Ну, ты только подумай! То вральяман, которому покажи пук розог, так он и от всего отречется; Зина с Соней какие-то нылы ноющие, – кто уж их там определит: и в короб не лезут, и из короба не идут. На этот фрукт нонче у нас пора урожайная: пруд пруди людям на смех, еще их вволю останется. А Лизанька – кровь! Пойми ты: *бахаревская кровь*, а не Ольги Сергеевнина. Ты должен стать за Лизу. Лиза женщина, я в ней вижу нашу гордость. Мало ли что им в ней примерещится. Ты должен ее защитить от этого пиленья-то. Ведь сам знаешь, что против жару и камень треснет, а в ней – опять тебе повторяю – наша кровь, бахаревская.

– Да, я это чувствую, – приосаниваясь, говорил Егор Николаевич, – я чувствую и понимаю.

– А понимаешь, так и разумеешь, как должен поступать. Горяча она очень, откровенна, прямо до смешного – это пройдет. С Женей пусть почаще вместе бывают: девушка предостойная, хотя и совсем в другом роде. А умничать над нею много не позволяй. Школить-то ее нечего, как собачонку. Светской пустоте сама еще подчинится, придет время. За женихами падать очень уж так нечего. Такие девушки, как Лиза, на каждом шагу не встречаются. Была бы охота, найдет доброхота. Придет пора, переделается, насколько сама сочтет нужным. Из ничего

ничего не сделаешь, а она матерьял. Я вон век свой до самого монастыря француженкой росла, а нынче, батюшка мой, с мужиком мужичка, с купцом купчиха, а с барином и барыней еще быть не разучилась. Это все пустяки, а ты смотри, чтобы ее не грызли, чтоб она не металась, бедняжка, нигде не находя сочувствия: вот это твое дело.

– Это правда, я непременно, непременно.

Бахарев стал прощаться.

– Ты сегодня разве едешь?

– Сейчас даже; человека оставлю забрать покупки да вот твои деньги на почту отправить, а сам сейчас домой. Ну, прощай, сестра, будь здорова.

– Прощай, да смотри помни о Лизе-то.

– Хорошо, хорошо.

– То-то хорошо. Скажи на ушко Ольге Сергеевне, – прибавила, смеясь, игуменья, – что если Лизу будут обижать дома, то я ее к себе в монастырь возьму. Не смейся, не смейся, а скажи. Я без шуток говорю: если увижу, что вы не хотите дать ей жить сообразно ее натуре, честное слово даю, что к себе увезу.

Глава восемнадцатая

Слово воплощается

Через день после описанного разговора Бахарева с сестрою в Мереве обедали ранее обыкновенного, и в то время, как господам подавали кушанье, у подъезда стояла легонькая бахаревская каретка, запряженная четверней небольших саврасых вятков.

За столом сидела вся семья и Юстин Помада, несколько бледный и несколько растерянный.

У Ольги Сергеевны и Зины глаза были наплаканы до опухоли век; Софи тоже была не в своей тарелке.

Одна Лиза сидела ровно и спокойно, как будто чужое лицо, до которого прямым образом нимало не касаются никакие домашние дрязги.

Егор Николаевич был тверд тою своеобычною решимостью, до которой он доходил после долгих уклонений и с которой уж зато его свернуть было невозможно, если его раз перепилили. Теперь он ел за четверых и не обращал ни на кого ни малейшего внимания.

Зина была одета в очень кокетливо сшитое дорожное холстинковое платье; все прочие были в своих обыкновенных нарядах.

Пружина безмятежного приюта действовала: Зина уезжала к мужу. Она энергически протестовала против своей высылки, еще энергичнее протестовала против этого мать ее, но всех энергичнее был Егор Николаевич. Объявив свою непреклонную волю, он ушел в кабинет, многозначительно хлопнул дверью, велел кучерам запрягать карету, а горничной девушке Зины укладывать ее вещи. Бахарев отдал эти распоряжения таким тоном, что Ольга Сергеевна только проговорила:

– Собирайся, Зиночка.

А люди стали перешептываться:

– Тс! барин гневен!

Правду говоря, однако, всех тяжелее в этот день была роль самого добросердого барина и всех приятнее роль Зины. Ей давно смерть хотелось возвратиться к мужу, и теперь она получила разом два удовольствия: надевала на себя венки страдальницы и возвращалась к мужу, якобы не по собственной воле, имея, однако, в виду все приятные стороны совместного житья с мужем, которыми весьма дорожила ее натура, не уважавшая капризов распущенного разума.

Рада была Зина, когда лошади тронули ее от отцовского крыльца, рад был и Егор Николаевич, что он выдержал и поставил на своем.

«Бахаревская кровь, – думал он, – бахаревская кровь, сила, терпение, настойчивость: я Бахарев, я настоящий Бахарев».

– Мнишек! – крикнул он, подумавши это. – Позвать мне Марину.

Явилась Абрамовна.

– Лизочкины вещи перенести в Зинину комнату и устроить ей там все как следует, – скомандовал Бахарев.

Марина Абрамовна молча поглядывала то на Егора Николаевича, то на его жену.

– Слышишь? – спросил Егор Николаевич.

– Слушаю-с, – отвечала старуха.

– Ну, и делай.

– Егор! – простонала Ольга Сергеевна.

– Что-с? – отрывисто спросил Бахарев.

– Это можно после.

– Это можно и сейчас.

– Где же будет помещаться Зина?

- У мужа.
- Но у нее не будет комнаты.
- Мужнин дом велик. Пока ребят не нарожала еще, две семьи разместить можно.
- Но для приезда.
- А! ну да! Мнишек, устрой так, чтобы Зиночке было хорошо в приезд остановиться в теперешней Лизиной комнатке.
- Слушаю-с, – снова, поглядывая на всех, проговорила Абрамовна.
- Ну, иди.
- Абрамовна вышла.
- Как же это можно, Егор Николаевич, поместить Зину в проходной комнате? – запротестовала Ольга Сергеевна.
- Га! А Лизу можно там поместить?
- Лиза ребенок.
- Ну так что ж?
- Она еще недавно в общих дортуарах спала.
- А Зина?
- Что ж, Зине, по вашему распоряжению, теперь негде и спать будет.
- Негде? негде? – с азартом спросил Бахарев.
- Конечно, негде, – простонала Ольга Сергеевна.
- У мужа в спальне, – полушепотом и с грозным придыханием произнес Егор Николаевич.
- Ах, боже мой!..
- Что-с?
- Ну, а на случай приезда?
- О! на случай приезда довольно и Лизиной комнаты. Если Лизе для постоянного житья ее довольно, то уж для приезда-то довольно ее и чересчур.
- Что ж, устроено все? – спросил Бахарев Абрамовну, сидя за вечерним чаем.
- Абрамовна молчала.
- Не устроено еще? – переспросил Бахарев.
- Завтра можно, Егор Николаевич, – ответила за Абрамовну Ольга Сергеевна.
- Бахарев допил стакан, встал и спокойно сказал:
- Лиза! иди-ка к себе. Мы перенесем тебя с Юстином Феликсовичем.
- И пошли, и перенесли все Лизино в спокойную, удаленную от всякого шума комнату Зины, а Зинины вещи довольно уютно уставили в бывшей комнате Лизы.
- И все это своими руками.
- Вот живи, Лизочек, – возгласил Егор Николаевич, усевшись отдохнуть на табурете в новом помещении Лизы, когда тут все уже было уставлено и приведено в порядок.
- Лиза, хранившая мертвое молчание во время всех сегодняшних распоряжений, при этих словах встала и поцеловала отцовскую руку.
- Живи, голубка. Книги будут, и покой тебе будет.
- Я завтра полочки тут для книг привешу, – проговорил Помада, сидевший тут же на ящике в углу, и на следующее утро он явился с тремя книжными полочками на ремне и большою, закрытою зеленою бумагою клеткою, в которой сидел курский соловей.
- Полки Помада повесил по стенке, а клетку с курским соловьем под окном.
- Отлично теперь, Лизавета Егоровна! – произнес он, забив последний гвоздь и отойдя к двери.
- Отлично, Юстин Феликсович, – отвечала Лиза и стала уставлять на полки свои книжечки.
- Так и зажила Лиза Бахарева.

Став один раз вразрез с матерью и сестрами, она не умела с ними сойтись снова, а они этого не искали. Отец стоял за нее, но не умел найти ее прямой симпатии. С Женни она видалась не часто, и то на самое короткое время. Она видела, что у матери и сестер есть предубеждение против всех ее прежних привязанностей, и писала Гловацкой: «Ты, Женька, не подумай, что я тебя разлюбила! Я тебя всегда буду любить. Но ты знаешь, как мне скверно, и я не хочу, чтобы это скверное стало еще сквернее. А я тебя крепко люблю. Ты не сердись, что я к тебе не езжу! Меня теперь и пустили бы, да я теперь не хочу этой милости. Ты приезжай ко мне. У меня теперь хорошо, а пока пришли мне книг. У меня есть три журнала, да что ж это!»

Женни брала у Вязмитинова для Лизы Гизо, Маколея, Милля, Шлоссера. Все это она посылала к Лизе и только дивилась, как так скоро все это возвращалось с лаконической надписью карандашом: «читала», «читала» и «читала».

- Давайте еще, – просила Женни Вязмитинова.
- Право, уж ничего более нет, – отвечал учитель.
- Хотите политическую экономию послать? – спрашивал Зарницын.
- Или логику Гегеля, – шутя добавлял Вязмитинов.
- Давайте, давайте, – отвечала Женни.

И ехали эти книжки шутки ради в Мерево, а оттуда возвращались с лаконическими надписями: «читала», «читала».

- Лиза, что это ты делаешь? – спрашивала Гловацкая.
- Что, дружок мой?
- Ты будешь синим чулком.
- Отчего?
- Что ты все глотаешь?
- А! ты это о книгах?
- Да, о книгах.
- Я люблю читать.
- Но нужно читать что-нибудь одно. Вязмитинов говорит, что непременно нужно читать с системой, и я это чувствую.
- Ты что же читаешь?
- Я читаю одни исторические сочинения.
- Это хорошо.
- А ты?
- Я читаю все. Я терпеть не могу систем. Я очень люблю заниматься так, как занимаюсь. Я хочу жить без указки всегда и во всем.

И так жила Лиза до осени, до Покрова, а на Покров у них был прощальный деревенский вечер, за которым следовал отъезд в губернский город на целую зиму.

На этом прощальном вечере гостей было со всех волостей. Были и гусары, и помещики либеральные, и помещики из непосредственных натур, и дамы уродливые, и дамы хорошенькие, сочные, аппетитные и довольно решительные. Егор Николаевич ходил лично приглашать к себе камергершу Мереву, но она, вместо ответа на его приглашение, спросила:

- А Кожухова у тебя будет?
- Будет, – отвечал Бахарев.
- И князь будет?
- Как же, будет.
- Ну, батюшка, так что ж ты хочешь разве, чтоб на твоём вечере скандал был?
- Боже спаси!
- То-то, я ведь не утерплю, спрошу эту мадам, где она своего мужа дела? Я его мальчиком знала и любила. Я не могу, видя ее, лишиться себя случая дать ей давно следующую пощечину. Так лучше, батюшка, и не зови меня.

Смотритель и Вязмитинов с Зарницыным были на вечере, но держались как-то в сторонке, а доктор обещал быть, но не приехал. Лиза и здесь, по обыкновению, избегала всяких разговоров и, нехотя протанцевав две кадрили, ушла в свою комнату с Женей.

– Кто этот молоденький господин приезжий? – спросила она Женни об одном из гостей.

– Который?

– Черный, молоденький.

– Какой-то Пархоменко.

– Нет, о Пархоменке я слышала, а этот иностранец.

– Какой-то Райнер.

– Что он такое?

– Бог его знает.

– Откуда они? Из Петербурга?

– Да.

– У кого они гостят?

– Бог их знает.

– Этот Пархоменко дурачок.

– Кажется.

– А Райнер?

– Не знаю.

– Чего бы ему сюда с дураками? – убирая косу, проговорила Лиза и легла с Женею спать под звуки беспощадно разбиваемого внизу фортепиано.

Лиза уж совсем эмансипировалась из-под домашнего влияния и на таких положениях уехала на третий день после прощального вечера со всею своею семьею в губернский город.

– А хорошо, папа, устроилась теперь Лиза, – говорила отцу Женни, едучи с ним на другой день домой.

– Ну... – промычал Гловацкий и ничего не высказал.

Вечером в этот же день у них был Пархоменко и Райнер.

Пархоменко все дергал носом, колупал пальцем глаз и говорил о необходимости совершенно иных во всем порядков и разных противодействий консерваторам. Райнер много рассказывал Женни о чужих краях, а в особенности об Англии, в которой он долго жил и которую очень хорошо знал.

– Боже! я там всегда видела верх благоустройства, – говорила ему Женни.

– И неправомерности, – отвечал Райнер.

– Там свобода.

– Номинальная. Свобода протестовать против голода и умирать без хлеба, – спокойно отвечал Райнер.

– А все же свобода.

– Да. Свобода голодного рабства.

– А у нас?

– У вас есть будущее: у вас меньше вредных преданий.

– У нас невежество.

– На дело скорее готовы люди односторонние, чем переворачивающие все на все стороны.

– Где вы учились по-русски?

– Я давно знаю. Мне нравился ваш народ и ваш язык.

– Вы поговорите с Вязмитиновым. Он здесь, кажется, больше всех знает.

«Какой странный этот Райнер!» – думала Женни, засыпая в своей постельке после этого разговора.

На другой день она кормила на дворе кур и слышала, как Вязмитинов, взявшись с уличной стороны за кольцо их калитки, сказал:

- Ну, прощайте, – добрый вам путь.
- Прощайте, – отвечал другой голос, который на первый раз показался Женни незнакомым.
- Рассчитывайте на меня смело, – говорил Вязмитинов: – я готов на все за движение, конечно, за такое, – добавил он, – которое шло бы легальным путем.
- Я уверен, – отвечал голос.
- Только *легальным* путем. Я не верю в успех иного движения.
- Конечно, конечно, – отвечал снова голос.
- Кто с вами был здесь за воротами? – спросила Вязмитинова Женни, не выпуская из рук чашки с моченым горохом.
- Райнер, – мы с ним прощались, – отвечал Вязмитинов. – Очень хороший человек.
- Кто? Райнер?
- Да.
- Кажется. Что ему здесь нужно? Какие у него занятия?
- Он путешествует.
- А! Это у нас новость? Куда ж он едет?
- Так едет, с своим приятелем и с Помадой. А что?
- Ничего. Он, в самом деле, очень образованный и очень милый человек.
- И милый? – с полушутливой, полуедкой улыбкой переспросил Вязмитинов.
- И милый, – еще раз подтвердила Женни, покрасневшись и несколько поспешливо сложив свои губки.

Глава девятнадцатая

Крещенский вечер

На дворе рано осмерк самый сердитый зимний день и немилосердно била сухая пурга. В двух шагах человека уже не было видно. Даже красный свет лучин, запыхавших в крестьянских хатах, можно было заметить, когда совсем уж ткнешься носом в занесенную снегом суволоку, из которой бельмисто смотрит обледенелое оконце. На господском дворе камергерши Меревой с самого начала сумерек люди сбивались с дороги: вместо парадного крыльца дома попадали в садовую калитку; идучи в мастерскую, заходили в конюшню; отправляясь к управительнице, попадали в избу скотницы. Такая пурга была, что свету божьего не видно. А между тем не держала эта пурга по своим углам меревскую дворню. Люди, вырядившись шутами, ходили толпою из флигеля во флигель, пили водочку, где таковая обреталась, плясали, шумели, веселились. Особенно потешал всех поваренок Ефимка, привязавший себе льняную бороду и устроивший из подушек аршинный горб, по которому его во всю мочь принимались колотить горничные девушки, как только он, по праву святочных обычаев, запускал свои руки за пазуху то турчанке, то цыганке, то богине в венце, вырезанном из старого штофного кокошника барышницей кормилицы. Словом, на меревском дворе были настоящие святки. Даже бахаревский садовник и птичница пришли сюда, несмотря на пургу, и тоже переходили за ряжеными из кухни в людскую, из людской в контору и так далее.

– А у нас-то теперь, – говорила бахаревская птичница, – у нас скука пристрашенная... Прямо сказать, настоящая Сибирь, как есть Сибирь. Мы словно как в гробу живем. Окна в доме заперты, сугробов нанесло, что и не вылезешь: живем старые да кволье. Все-то наши в городе, и таково-то нам часом бывает скучно-скучно, а тут как еще псы-то ночью завоют, так инда даже будто как и жутко станет.

Между тем, как переряженные дворовые слонялись по меревскому двору, а серые облачные столбы сухого снега, вздымаясь, гуляли по полям и дорогам, сквозь померзлое окно в комнате Юстина Помады постоянно мелькала взад и вперед одна и та же темная фигура. Эта фигура был сам Помада. Он ходил из угла в угол по своему чулану и то ворошил свою шевелюру, то нюхал зеленую веточку ели или мотал ею у себя под носом. На столе у него горела сальная свечка, распространяя вокруг себя не столько света, сколько зловония; на лежанке чуть-чуть пищал угасавший самовар, и тут же стоял графин с водкой и большая деревянная чашка соленых и несколько промерзлых огурцов.

– Во-первых, истинная любовь скромна и стыдлива, а во-вторых, любовь не может быть без уважения, – произнес Помада, не прекращая своей прогулки.

– Рассказывай, – возразил голос с кровати.

Теперь только, когда этот голос изобличил присутствие в комнате Помады еще одного живого существа, можно было рассмотреть, что на постели Помады, преспокойно растянувшись, лежал человек в дубленом коротком полушубке и, закинув ногу на ногу, преспокойно курил довольно гадкую сигару.

Всматриваясь в эту фигуру, вы узнавали в нем доктора Розанова. Он сегодня ехал со следствия, завернул к Помаде, а тут поднялась кура, и он остался у него до утра.

– Это верно, – говорил Помада, как бы еще раз обдумав высказанное положение и убедившись в его совершенной непогрешимости.

– Как не верно! – иронически заметил доктор.

– Белинский пишет, что любовь тогда чувство почтенное, когда предмет этой любви достоин уважения.

– Из чего и следует, что и Белинский мог провираться.

– Ну, у тебя все провираются.

- А все!
- Ну, можно ли любить женщину, которую ты не уважаешь, которой не веришь?
- Не о чем и спрашивать. Стало быть можно, когда люди любят.
- Люди черти, люди и водку любят.
- Дура ты, Помада, право, дура, и дураком-то тебя назвать грех.

Доктор замолк.

- Терпеть я тебя не могу за эту дрянную манеру. Какого ты черта все идеальничаешь?
- Оставь уж лучше, чем ругаться, – заметил, обидясь, Помада.
- Нет, в самом деле?
- А в самом деле, оставим этот разговор, да и только.
- И это можно, но ты мне только скажи вот: ты с уважением любишь или нет?
- Я никого не люблю исключительной любовью.

– Что врать! Сам сто раз сознавался, то в Катеньку, то в Машеньку, то в Сашеньку, а уж вечно врезавшись... То есть ведь такой козел сладострастный, что и вообразить невозможно. Вспыхнет как порох от каждого женского платья, и пошел идеализировать. А корень всех этих привязанностей совсем сидит не в уважении.

– А в чем же, по-твоему?

– Ну уж, брат, не в уважении.

– По-твоему, небось, черт знает в чем... в твоих грязных наклонностях.

– Те-те-те! ты, брат, о грязных-то наклонностях не фордыбачь. Против природы не пойдешь, а пойдешь, так дураком и выйдешь. Да твое-то дело для меня объясняется вовсе не одними этими, как ты говоришь, грязными побуждениями. Я даже думаю, что ты, пожалуй, – черт тебя знает, – ты, может быть, и, действительно, способен любить так, как люди не любят. Но все ты любишь-то не за то, что уважаешь. Ты прежде вот, я говорю, врежешься, а потом и пошел додумывать своей богине всякие неземные и земные добродетели. Ну, не так что ли?

– Конечно, не так.

– Как же это ты и Зину Бахареву уважаешь, и Соньку, и Лизу, и поповну молодую, и Гловацкую?

– Эко напутал!

– Чего? да разве ты не во всех в них влюблен? Как есть во всех. Такой уж ты, брат, сердечкин, и я тебя не осуждаю. Тебе хочется любить, ты вот распятыся бы хотел за женщину, а никак это у тебя не выходит. Никто ни твоей любви, ни твоих жертв не принимает, вот ты и ищешь все своих идеалов. Какое тут, черт, уважение. Разве, уважая Лизу Бахареву, можно уважать Зинку, или уважая поповну, рядом с ней можно уважать Гловацкую?

– Да к чему ж ты их всех путаешь?

– Власть, братец мой, такую имею, и ничем ты мне этого возбранить не можешь, потому что рыльце у тебя в пуху.

Доктор встал с постели, набил себе дорожную трубку, потом выпил рюмку водки и, перекусив огурец, снова повалился на постель.

– Все это, братец мой, Юстин Феликсович, я предпринимаю в видах ближайшего достижения твоего благополучия, – произнес он, раскуривая трубку.

– Благодарю покорно, – процедил сквозь зубы Помада, не прекращая своей бесконечной прогулки.

– И должен благодарить, потому что эта идеальность тебя до добра не доведет. Так вот и просидишь всю жизнь на меревском дворе, мечтая о любви и самоотвержении, которых на твое горе здесь принять-то некому.

– Ну, и просижу, – спокойно отвечал Помада.

– Просидишь? – ну, и сиди, прей.

Помада молчал.

– Отличная жизнь, – продолжал иронически доктор, – и преползшая тоже! Летом около барышень цветочки нюхает, а зиму, в ожидании этого летнего блаженства, бегаёт по своему чулану, как полевой волк в клетке зверинца. Ты мне верь; я тебе ведь без всяких шуток говорю, что ты дуреть стал: ты-таки и одуреешь.

– Какой был, таков и есть, – опять процедил Помада, видимо тяготясь этим разговором и всячески желая его окончить.

– Нет, не таков. Ты ещё осенью был человеком, подававшим надежды проснуться, а теперь, как Бахарева уехали, ты совсем – шут тебя знает, на что ты похож – бестолков совсем, милый мой, становишься. Я думал, что Лизавета Егоровна тебя повернет своей живостью, а ты, верно, только и способен миндальничать.

Помада продолжал помахивать у своего носа еловою веточкой и молчал, выдерживая свое достоинство.

Доктор встал, выпил ещё рюмку водки и стал раздеваться.

– У человека факты живые перед глазами, а он уж и их не видит, – говорил Розанов, снимая с себя сапоги. – Стану я факты отрицать, не выживши из ума! Просто одуреваешь ты, Помада, просто одуреваешь.

– Это ты отрицатель-то, а не я. Я все признаю, я многое признаю, чего ты не хочешь допустить.

– Например, любовь, происходящую из уважения? – смеясь, спросил доктор.

– Да что тебе удалось нынче это уважение! – воскликнул Помада несколько горячее обыкновенного.

– Сердишься! ну, значит, ты неправ. А ты не сердись-ка, ты дай вот я с тебя показание сниму и сейчас докажу тебе, что ты неправ. Хочешь ли и можешь ли отвечать?

– Да я не знаю, о чем ты хочешь спрашивать.

– Повар Павел любит свою жену или нет?

– Кто ж его знает?

– Ну, а я тебе скажу, что и он ее любит и она его любит. А теперь ты мне скажи, дерутся они или нет?

– Ну, дерутся.

– Так и запишем. – Теперь Васенка любит мельника Родиона или не любит?

– Да черт знает, о чем ты спрашиваешь! Почему я знаю, любит Васенка или не любит?

– Почему! А вот почему, друг любезный, потому, что она при тебе сапоги мои целовала, чтобы я забраковал этого Родиона в рекрутском присутствии, когда его привезли сдавать именно за то, что он ей совком голову проломил. И не только тут я видел, как она любит этого разбойника, а даже видел я это и в те минуты, когда она попрекала его, кляла всеми клятвами за то, что он ее сокрушил и состарил без поры без времени, а тут же сейчас последний платок цирюльнику с шеи сбросила, чтобы тот не шельмовал ее соколу затылок. Кажется, ведь любит? А только тот встал с подстриженным затылком, она ему в лицо харкнула. «Зверь, говорит, ты, лиходей мой проклятый». Где ж здесь твое уважение-то?

– Что ж, тут вовсе не любовь, а сожаление.

– Сожаление! А зачем же она сбежала-то с ним вместе?

– Воли захотелось.

– Под его кулачьями-то! Ну, нет, брат, – не воли ей захотелось, а любовь, любовь эти штуки-то отливает. Воли бы ей хотелось, давно бы ее эскадронный пять раз откупил. Это ты ведь тоже, чай, знаешь не меньше моего. Васенка-то, брат... знаешь, чего стоит! Глазом поведет – рублем одарит. Это ведь хрящик белый, а не косточка. А я тебе повторяю, что все это орудует любовь, да не та любовь, что вы там сочиняете, да основываете на высоких-то нравственных качествах любимого предмета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любовь, та любовь, про которую эти адски-мучительные песни поются, за которую и душатся, и режутся, и не рассуждают по-

вашему. Белинский-то – хоть я и позабывал у него многое – рассуждает ведь тут о человеке *нравственно развитом*, а вы, шуты, сейчас при своем развитии на человечество тот мундир и хотите натянуть, в котором оно ходить не умеет. Я тебе не два, а двести два примера покажу, где нет никакого уважения, а любовь-то живет, да любовь не вашенская, не мозглиявая.

– Да ты все из какого класса примеры-то берешь?

– А тебе из какого? Из самого высокого?

– Что высокий! Об нем никто не говорит, о высоком-то. А ты мне покажи пример такой на человеке развитом, из среднего класса, из того, что вот считают бьющеюся, живою-то жилою русского общества. Покажи человека размышляющего. Одного человека такого покажи мне в таком положении.

– Ну, брат, если одного только требуешь, так уж по этому холоду далеко не пойду отыскивать.

Доктор снова встал в одном белье в постели, остановил Помаду в его стремительном бегстве по чулану и спросил:

– Ты Ольгу Александровну знаешь?

– Твою жену?

– Да, мою жену.

– Знаю.

– И хорошо знаешь?

– Да как же не знать!

– Уважаешь ты ее?

– Н... ну...

– Нет, – хорошо. За что ты ее не уважаешь?

– Да как это сказать...

– Говори!

– Да за все.

– Она разбила во мне все, все.

– Верю, верю, брат, – отвечал расстроенный этим рассказом Помада.

– А я ее люблю, – пожав плечами, произнес доктор и проглотил еще рюмку водки.

И с этим лег в постель, укрылся своим дубленным тулупом и молча повернулся к стене, а Юстин Помада, постояв молча над его кроватью, снова зашагал взад и вперед.

За стеною, в столярной, давно прекратились звуки гармонии и топот пляшущих святочников, и на меревском дворе все уснуло. Даже уснула носившаяся серыми облачными столбами воющая русская кура, даже уснул и погас огонек, доев сальный огарок, в комнате Помады. Не спала только холодная луна. Выйдя на расчистившееся небо, она смотрела оттуда, хорошо ли похоронила кура тех, кто с нею встретился, идучи своим путем-дорогою. Да не спал еще Юстин Помада, который не заметил, как догорела и сгасла свечка и как причудливо разрисованное морозом окно озарилось бледным лунным светом. Он все бегал и бегал по своей комнате, оправдывая сделанное на его счет сравнение с полевым волком, содержащимся в тесной клетке.

«Дичь какая! – думал между прочим, бегая, Помада. – Все идеалы мои он как-то разбивает. Материалист он... а я? Я...»

Без ответа остался этот вопрос у Помады.

«Я вот что, я покажу... что ж я покажу? что это в самой вещи? Ни одной привязанности устоявшейся, серьезной: все как-то, в самом деле, легко... воздушно... так сказать... расплывчато. Эка натура проклятая!»

«А впрочем, – опять размышлял Помада, – чего ж у меня нет? Силы? Есть. Пойду на смерть... Эка штука! Только за кого? За что?»

«Не за кого, не за кого», – решил он.

«А любовь-то, в самом деле, не на уважении держится... Так на чем же? Он свою жену любит. Вздор! Он ее... жалеет. Где любить такую эгоистичную, бессердечную женщину. Он материалист, даже... черт его знает, слова не придумает, что́ он такое... все отрицает... Впрочем, черт бы меня взял совсем, если я что-нибудь понимаю... А скука-то, скука-то! Хоть бы и удавиться так в ту же пору».

И с этим словом Юстин Помада остановился, свернул комком свой полушубочек, положил его на лежанку и, посмотрев искоса на луну, которая смотрела уже каким-то синим, подбитым глазом, свернулся калачиком и спать задумал.

Глава двадцатая

За полночь

За полночь послышалось Помаде, будто кто-то стучит в сеничную дверь.

«Сон, это я во сне вижу», – подумал дремлющий Помада.

Стучали после долго еще в дверь, да никто не встал отворить ее.

«Сон», – думал Помада.

В мерзлое стекло кто-то ударил пальцем.

Еще и еще.

«Ну пусть же еще ударит, если это не сон», – думал Помада, пригревая бок на теплой лежанке.

И еще ударили.

– Кто там? – вскинув голову, спросил Помада. Гул какой-то послышался из-за окна, а разобрать ничего невозможно.

– Чего? – спросил Помада, приложив теплое лицо к намерзшему стеклу.

Опять гул. Человеческий голос, а ничего не разберешь.

«Перепились, свиньи», – подумал Помада, надев докторовы медвежьи сапоги, вздел на рукава полушубок и пошел отпирать двери холодных сеней.

– Кто?

– Свои, батюшка.

– Кто? – снова спросил Помада, держась за задвижку.

– Герасим.

– Чего ты, Герасим?

– Бахаревский Герасим.

– Да чего?

– К вам, Юстин Феликсович.

Помада отодвинул задвижку и, дрожа от охватившего его холода, побежал в свою комнату.

Не успел он переступить порог и вспрыгнуть на печку, а за ним Гараська бахаревский.

– Что? Чего тебе ночью? – спросил Помада.

– К вашей милости, барин.

– Ну?

– К нам пожалуйста.

– К кому к вам?

– На барский двор.

– Что там такое у вас на барском дворе?

– Ничего, все благополучно. Барышня вас требуют.

– Какая барышня?

– Лизавета Егоровна приехала.

– Лизавета Егоровна?

– Точно так-с.

– Лизавета Егоровна? – переспросил Помада.

– Точно так-с, сами Лизавета Егоровна.

– С кем?

– Одне-с.

– Одна?

– Одне-с, с покочаловским-с мужиком.

– С кем?

- С покочаловским-с мужиком-с, – наняли, да обмерзли-с, нездоровы совсем.
- Одна?
- С покочаловским-с мужиком.
- Ну?
- Пожалуйте. Сейчас вас просят.
- Пошел, пошел домой. Я сейчас... Розанов! Розанов! Дмитрий Петрович!
- Н-м! – протянул доктор, не подавая никакой надежды на скорое пробуждение.
- О, черт! – пробурчал Помада, надевая на себя попадавшуюся под руки сбрую, и побе-

жал.

Бежит Помада под гору, по тому самому спуску, на который он когда-то несся орловским рысаком навстречу Женни и Лизе. Бежит он сколько есть силы и то попадет в снежистый перебой, что пурга здесь позабыла, то раскатится по наглаженному полозному следу, на котором не удержались пушистые снежинки. Дух занимается у Помады. Злобствует он, и увязая в переносах, и падая на голых раскатах, а впереди, за Рыбницей, в ряду давно темных окон, два окна смотрят, словно волчьи глаза в овраге.

«Это у Егора Николаевича в комнате свет», – подумал Помада, увидя неподвижные волчьи глаза.

«И чудно, как смотрят эти окна, – думает он, продолжая свою дорогу, – точно съесть хотят».

«А ведь дом-то нетопленный. Холод небось!»

«И зачем бы это она?.. И на наемных... Должно быть... у-ах! – Эко черт! Тогда свалился, теперь завяз, тьфу!..»

И попер Помада прямо на волчьи очи, которые всё расходились, расходились и, наконец, выравнялись в форму двух восьмистекольных окон.

«Однако, ходьба нынче!» – подумал Помада и дернул за клямну.

Двери заперты.

– Кто? – спрашивает из-за двери голос.

– Я.

– А! Барчук меревский. Пустить?

Ответа Помада не слышал, а дверь отворилась.

Кандидат бросил на окошечок передней тулуп и вошел в залу.

– Подождите, батюшка, здесь немножечко, – попросила встретившая его птичница и, оставив ему свечку, юркнула к Лизе в бахаревский кабинет.

Слабо освещала большую залу одна сальная свечка. Хорошо виден был только большой обеденный стол и два нижние ряда нагроможденных на нем под самый потолок стульев, которые самым причудливым образом выставляли во все стороны свои тоненькие, загнутые ножки. А далее был мрак, с которым не хотел и бороться тщедушный огонек свечечки. Только взглянув в отворенную дверь гостиной, можно было почувствовать, что это не настоящий мрак и что есть место, где еще темнее. Как ни слаба была полоска света, падавшая на пол залы сквозь ряд высунутых стульями ножек, но все-таки по этому полу, прямо к гостиной двери, ползла громадная, фантастическая тень, напоминавшая какое-то многорукое чудовище из волшебного мира. Тонкие, кривые ножки вырастали на тени, по мере удаления от свечки причудливо растягивались и не обрезывались, а как-то смешивались с темнотою, словно пощупывая там что-то или кого-то подкарауливая.

Несмотря на тревожное состояние Помады, таинственно-мрачный вид темного, холодного покоя странно подействовал на впечатлительную душу кандидата и даже заставил его на некоторое время забыть о Лизе.

«Фу, как тут скверно! – подумал Помада, пожимаясь от холода. – Ни следа жизни нет. Это хуже могилы».

В голове у Помады почему-то вдруг пробежали детские сказки о заколдованных замках, о Громвале, о Кикиморе.

«Там-то, там-то тьма такая!» – подумал Помада, направляясь со свечою к гостиной двери.

Здесь свечечка оказывалась еще бессильнее при темных обоях комнаты. Только один неуклюжий, запыленный чехол, окутывавший огромную люстру с хрустальными подвесками, невозможно выделялся из густого мрака, и из одной шелки этого чехла на Помаду смотрел крошечный огненный глазок. Точно Кикимора подслушала Помадины думы и затеяла пошутить с ним: «Вот, мол, где я сижу-то: У меня здесь отлично, в этом пыльном шалашике».

Помада посмотрел на блестящую хрусталинку люстры и, возвращаясь в залу, встретился с птичницей, которая звала его к Лизавете Егоровне.

Лиза была в отцовском кабинете. Она сидела перед печкою, в которой ярко пылала ржаная солома. В этой комнате было так же холодно, как и в гостиной, и в зале, но все-таки здесь было много уютнее и на вид даже как-то теплее. Здесь менее был нарушен живой вид покоя: по стенам со всех сторон стояли довольно старые, но весьма мягкие турецкие диваны, обтянутые шерстяной полосатой материей; старинный резной шкаф с большою гипсовою лошадью наверху и массивный письменный стол с резными башенками. Кроме того, здесь было несколько мягких табуретов, из которых на одном теперь сидела и грелась Лиза.

В комнате не было ни чемодана, ни дорожного сака и вообще ничего такого, что свидетельствовало бы о прибытии человека за сорок верст по русским дорогам. В одном углу на оттоманке валялась городская лисья шуба, крытая черным атласом, ватный капор и большой ковровый платок; да тут же на полу стояли черные бархатные сапожки, а больше ничего.

– Здравствуйте! – весело, но сильно взволнованным и дрожащим голосом сказала Лиза, протягивая Помаде свою ручку.

Помада торопливо схватил эту ручку, пожал ее и взглянул на Лизу сияющим взором, но не сказал ни одного слова в ответ на ее приветствие.

– Что, вы удивлены, поражены, напуганы? – тем же взволнованным голосом и с тою же напряженно-веселою улыбкою спросила Лиза.

Помада кашлянул, пожался и отвечал:

– Точно, удивлен, Лизавета Егоровна. Как это вы?

– Как приехала? А вот села, да и приехала.

Помада взял табурет, сел к печи и, закрыв ладонью рот, опять кашлянул.

– Здесь совсем холодно, – заметил он.

– Да, холодно, дом настыл, не топлён с осени.

– Вам здесь нельзя оставаться.

– Ну, об этом будем рассуждать после, а теперь я за вами послала, чтобы вы как-нибудь достали мне хоть рюмку теплого вина, горячего чаю, хоть чего-нибудь, чего-нибудь. Я иззябла, совсем иззябла, я больна, я замерзала в поле... и даже обморозилась... Я вам хотела написать об этом, да... да не могла... руки вот насилу оттерли снегом... да и ни бумаги, ничего нет... а люди всё перевернут...

По мере того как Лиза высказывала свое положение, искусственная веселость все исчезала с ее лица, голос ее становился все прерывистее, щеки подергивало, и видно было, что она насилу удерживает слезы, выжимаемые у нее болезнью и крайним раздражением.

К концу этой короткой речи все лицо Лизы выражало одно живое страдание и, взглянув в глаза этому страданию, Помада, не говоря ни слова, выскочил и побежал в свою конуру, едва ли не так шибко, как он бежал навстречу институткам.

Через полчаса в комнату Лизы вошли доктор и Помада, обремененный бутылками с уксусом, спиртом, красным вином и несколькими сверточками в бумаге.

Лиза смотрела в огонь и ничего не слыхала. Она была очень слаба и расстроена.

– Лизавета Егоровна! – весело воскликнул доктор, протягивая ей свою руку.

– А, доктор! Вот встреча-то? – проговорила несколько удивленная его появлением Лиза. – И как кстати! Я совсем разнемогалась.

– Прозябли, я думаю, просто.

– Какое там прозябла? Я замерзала, совсем замерзала. Мне оттирали руки и ноги. На меня уж даже спячка находила.

– Где ж это вы?

– Дорогой, – сбился мужик.

Доктор посмотрел ей пристально в глаза и сказал:

– Дайте-ка руку. А что это у вас с глазами? болят они у вас?

– Да, это уж давно.

– Или вы плакали?

– И это немножко было, – ответила, слегка улыбнувшись, Лиза.

– Ну, ты, Помада, грей вино, да хлопочи о помещении для Лизаветы Егоровны. Вам теперь прежде всего нужно тепло да покой, а там увидим, что будет. Только здесь, в нетопленном доме, вам ночевать нельзя.

– Нет, я здесь останусь. Я напьюсь чаю, вина выпью, оденусь шубой и велю всю ночь топить – ничего и здесь. Эта комната скоро согреется.

– Ну, нет, Лизавета Егоровна, это уж, извините меня, причуды. Комната станет отходить, сделается такой угар, что и головы не вынесете.

Лиза вздохнула и сказала:

– Что ж! может быть, и лучше будет.

– Что это, головы-то не вынести? Ну, об этом еще подумаем завтра. Зачем голове даром пропадать? А теперь... куда бы это поместить Лизавету Егоровну? Помада! Ты здесь весь двор знаешь?

– К конторщику, у него две комнаты.

– Не хочу, не хочу! – замахав рукою, возразила на это предположение Лизавета Егоровна.

– Отчего же?

– Не хочу.

– Да отчего? – резонировал доктор.

– Я не могу никого видеть сегодня.

– А другие помещения, кроме птичьей избы, все пустые и холодные, – заметил Помада.

– А птичья-то изба теплая, хорошая?

– Грязная, загаженная и никуда не годится.

– Пойдем-ка осмотрим.

Доктор и Помада вышли, а Лиза, оставшись одна в пустом доме, снова утупила в огонь глаза и погрузилась в странное, столбняковое состояние.

– Батюшка мой! – говорил доктор, взойдя в жилище конторщика, который уже восстал от сна и ожидал разгадки странного появления барышни, – сделайте-ка вы милость, заложите поскорее лошадку да слетайте в город за дочкою Петра Лукича. Я вот ей пару строчек у вас черкну. Да выходите-то, батюшка, сейчас: нам нужно у вас барышню поместить. Вы ведь не осердитесь?

– Помилуйте, я с моим удовольствием. Я даже сам рассуждал это предложение сделать Лизавете Егоровне. Я хоть где-нибудь могу, а их дело нежное.

– То-то, там никак нельзя.

– Как возможно? Там одно слово – стыдь.

– Да. Ну-с шубку-то, шубку-то, да и выйдите, побудьте где-нибудь, пока лошадь заложат. А лампадочку-то перед иконами поправьте: это очень хорошо.

– Все сею минутою-с.

– Ну, и прекрасно, и птичницу сюда на минутку пошлите, а мы сейчас переведем Лизавету Егоровну. Только чтоб она вас здесь не застала: она ведь, знаете, такая... деликатная, – рассказывал доктор, уже сходя с конторского крылечка.

Доктор урезонил Лизавету Егоровну: ее привели в теплую комнатку конторщика, напоили горячим чаем с вином, птичница вытерла ее спиртом и уложила на конторщикovu постель, покрытую чистой простынею.

Доктор не позволял Лизе ни о чем разговаривать, да она и сама не расположена была беседовать. В комнате поправили лампаду и оставили Лизу одну с своими думами и усталостью.

Доктор с Помадой остались в конторе, служившей преддверием к конторщикову апартаменту.

Они посидели с полчаса в совершенном молчании, перелистывая от скуки книги «О приходе и расходе разного хлеба снопами и зерном». Потом доктор снял ногою сапоги, подошел к Лизиной двери и, послушав, как спит больная, возвратился к столу.

– Что? – прошептал Помада.

– Ничего, дышит спокойно и спит. Авось, ничего не будет худого. Давай ложиться спать, Помада. Ложись ты на лавке, а я здесь на столе прилягу, – также шепотом проговорил доктор.

– Нет, я не лягу.

– Отчего?

– Мне не хочется спать.

– Ну, как знаешь, а я лягу.

И доктор, положив под голову несколько книг «О приходе и расходе хлеба снопами и зерном», лег на стол и закрылся своим полушубком.

– Что бы это такое значило? – прошептал, наклоняясь к самому уху доктора, Помада, тоже снявший свои сапоги и подкравшийся к Розанову совершенно неслышными шагами, как кот из хрустальной лавки.

– Что такое? – спросил шепотом доктор, быстро откинув с себя полушубок.

Помада повторил свой вопрос.

– А, шут этакой! Испугал совсем. Я думал, уж невесть что делается.

– Ну да, я виноват. Я это так шел, чтоб не слышно. Ну, а как ты думаешь, что бы это такое значило?

– Я думаю, что ступай ты спать: успеем еще узнать. Что тут отгадывать да путаться. Спи. Утро вечера мудренее.

Глава двадцать первая

Глава, некоторым образом топографически-историческая

Говорят, что человеческое жилище всегда более или менее точно выражает собою характер людей, которые в нем обитают. Едва ли нужно доказывать, что до известной степени можно допустить справедливость этого замечания. Наблюдательный и чуткий человек, осмотревшись в жилье людей, мало ему знакомых или даже совсем незнакомых, по самым неуловимым мелочам в обстановке, размещении и содержании этого жилья чувствует, что здесь преобладает любовь или вражда, согласие или ссора, радушие или скупость, домовитость или расточительность.

Когда люди входили в дом Петра Лукича Гловацкого, они чувствовали, что здесь живет совет и любовь, а когда эти люди познакомились с самими хозяевами, то уже они не только чувствовали витающее здесь согласие, но как бы созерцали олицетворение этого совета и любви в старике и его жене. Теперь люди чувствовали то же самое, видя Петра Лукича с его дочерью Женни, украшая собою тихую, предзакатную вечерню старика, умела всех приобщить к своему чистому празднеству, ввести в свою безмятежную сферу.

До приезда Женни старик жил, по собственному его выражению, отбившимся от стада зубром: у него было чисто, тепло и уютно, но только со смерти жены у него было везде тихо и пусто. Тишина этого домика не зналась со скукою, но и не знала оживления, которое снова внесла в него с собою Женни.

С приездом Женни здесь все пошло жить. Ожил и помолодел сам старик, сильнее зацвел старый жасмин, обрезанный и подвязанный молодыми ручками; повеселела кухарка Пелагея, имевшая теперь возможность совещаться о соленьях и вареньях, и повеселели самые стены комнаты, заслышав легкие шаги грациозной Женни и ее тихий, симпатичный голосок, которым она, оставаясь одна, иногда безотчетно пела для себя: «Когда б он знал, как пламенной душою» или «Ты скоро меня позабудешь, а я не забуду тебя».

В восемь часов утра начинался день в этом доме; летом он начинался часом ранее. В восемь часов Женни сходилась с отцом у утреннего чая, после которого старик тотчас уходил в училище, а Женни заходила на кухню и через полчаса являлась снова в зале. Здесь, под одним из двух окон, выходящих на берег речки, стоял ее рабочий столик красного дерева с зеленым тафтяным мешком для обрезков. За этим столиком проходили почти целые дни Женни.

– Рукодельница наша барышня: все сидит, все шьет, все шьет, – приданое себе готовит, – рассказывала соседям Пелагея.

Женни, точно, была рукодельница и штопала отцовские носки с бульшим удовольствием, чем исправникова дочь вязала бисерные кошельки и подставки к лампам и подсвечникам. Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дело плотно, без шума, без треска, тихо, но так солидно, что и люди и старик-отец тотчас почувствовали, что в доме есть настоящая хозяйка, которая все видит и обо всех помнит.

И стало всем очень хорошо в этом доме.

Из окна, у которого Женни приютилась с своим рабочим столиком, был если не очень хороший, то очень просторный русский вид. Городок был раскинут по правому, высокому берегу довольно большой, но вовсе не судоходной реки Саванки, значащейся под другим названием в числе замечательнейших притоков Оки. Лучшая улица в городе была Московская, по которой проходило курское шоссе, а потом Рядская, на которой были десятка два лавок, два трактирных заведения и цирюльня с надписью, буквально гласившею:

«Сдеся кров пускают и стригут и бреют Козлов».

Знаков препинания на этой вывеске не было, и местные зоилы находили, что так оно выходит гораздо лучше.

Потом в городе была еще замечательна улица Крупчатная, на которой приказчики и носильщики, таская кули, сбивали прохожих с ног или, шутки ради, *подбеливали* их мучкой самой первой руки; да была еще улица Главная. Бог уж знает, почему она так называлась. Рассказывали в городе, что на ней когда-то стоял дом самого батюшки Степана Тимофеевича Разина, который крепко засел здесь и зимовал со своими рыцарями почти целую зиму. Теперь Главная улица была знаменита только тем, что по ней при малейшем дожде становилось море и после целый месяц не было ни прохода, ни проезда. Затем шли закоулочки да переулочки, пересекавшие друг друга в самых прихотливых направлениях. Тут жили прядильщики, крупчатники, мещане, занимавшиеся поденной работой, и мещане, ничем не занимавшиеся, а вечно полупьяные или больные с похмелья. С небольшой высоты над этою местностью царил высокий каменный острог, наблюдая своими стеклянными глазами, как пьет и сварится голодная нищета и как щиплет свою жидкую беленькую бородку купец Никон Родионович Масленников, попугивая то того, то другого каменным мешочком.

– Сейчас упеку, – говорит Никон Родионович: – чувствуй, с кем имеешь обращение!

И покажет рукою на острог.

Народ это очень чувствовал и не только ходил без шапок перед Масленниковыми хоромами, но и гордился им.

– У нас теперь, – хвастался мещанин заезжему человеку, – есть купец Никон Родионович, Масленников прозывается, вот так человек! Что ты хочешь, сейчас он с тобою может сделать; хочешь, в острог тебя посадить – посадит; хочешь, плетюганами отшлепать или так в полицы розгам отодрать, – тоже сейчас он тебя отдерет. Два слова городничему повелит или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь, – сейчас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого себе человека имеем!

– Вот пес-то! – щурился глаза, замечал проезжий мужик.

– Да, брат, повадки у него никому: первое дело, капитал, а второе – рука у него.

– Н-да, – вытягивал проезжий.

– Н-да! – произносил в другой тон мещанин.

– Ишь, хоромы своротил какие! – кричал мужик, едучи на санях, другому мужику, стоявшему на коленях в других санях.

– Страсть, братец ты мой!

– А вить что? – наш брат-мужик.

– Дыть Господь одарил, – вздыхая, отвечал задний мужик.

– Известно: очень уж, говорят, он много на церкви жертвует.

– Только уж обмеру у него на ссыпки очень тоже много, – замечал задний мужик.

– Обмеру, точно, много, – задумчиво отвечал передний.

У часовенки, на площади, мужики крестились, развязывали мошонки, опускали по грошу в кружку и выезжали за острог, либо размышляя о Никоне Родионовиче, либо распевая с кокоревской водки: «Ты заной, эх, ты заной, мое сердечушко, заной, ретивое».

Затем, разве для полноты описания, следует упомянуть о том, что город имеет пять каменных приходских церквей и собор. Собор славился хором певчих, содержимых от щедрот Никона Родионовича, да пятисотпудовым колоколом, каждый праздник громко, верст на десять кругом, кричавшим своим железным языком о рачительстве того же Никона Родионовича к благолепию дома божия.

Все уездные любители церковного пения обыкновенно сходились в собор к ранней обедне, ибо Никон Родионович всегда приходили помолиться за ранней, и тут пели певчие. Поздней обедни Никон Родионович не любили и ядовито замечали, что к поздней обедне только ходят приказничихи хвастаться, у кого новые башмаки есть.

Да еще была в городе больница, в которой несчастный Розанов бился с непреодолимыми препятствиями создать из нее что-нибудь похожее на лечебное заведение. Сначала он,

по неопытности, все лез с представлениями к начальству, потом взывал к просвещенному вниманию благородного дворянства, а наконец, скрепя сердце и смилив дух гордыни, отнесся к толстому карману Никона Родионовича. Никон Родионович пожертвовали два десятка верблюжьих халатов и фонарь к подъезду, да на том и стали. Потребляемых вещей Масленников жертвовать не любил: у него было сильно развито стремление к монументальности, он стремился к некоторому, так сказать, даже бессмертию: хотел жить в будущем. Хоть не в далеком, да в будущем, хоть пока халаты изнасятся и сопреет стена, к которой привинтили безобразный фонарь с скрипучим флюгером, увеличивавшим своим скрипом предсмертную тоску замариуемых в докторово отсутствие больных.

Был еще за городом гусарский выездной манеж, состроенный из осиновых вершинок и оплетенный соломенными притугами, но это было временное здание. Хотя губернский архитектор, случайно видевший счеты, во что обошелся этот манеж правительству, и утверждал, что здание это весьма замечательно в истории военных построек, но это нимало не касается нашего романа и притом с подробностью обработано уездным учителем Зарницыным в одной из его обличительных заметок, напечатанных в «Московских ведомостях».

Более в целом городе не было ничего достопримечательного в топографическом отношении, а его этнографическою стороною нам нет нужды обременять внимание наших читателей, поелику эта сторона не представляет собою никаких замечательных особенностей и не выясняет положения действующих лиц в романе.

Гловацкий, Вязмитинов, Зарницын, доктор и даже Бахарев были, конечно, знакомы и с Никоном Родионовичем, и с властями, и с духовенством, и с купечеством, но знакомство это не оказывало прямого влияния ни на их главные интересы, ни на их внутреннюю жизнь. А следить за косвенным влиянием среды на выработку нравов и характеров, значило бы заходить несколько далее, чем требует наш план и положение наших героев и героинь, не стремившихся спеться с окружающею их средою, а сосредоточивавших свою жизнь в том ограниченном кружочке, которым мы занимались до сих пор, не удаляясь надолго от домов Бахарева и Гловацкого. Кто жил в уездных городах в последнее время, в послелякушкинскую эпоху, когда разнеслись слухи о благодетельной гласности, о новосильцевском обществе пароходства и победах Гарибальди в Италии, тот не станет отвергать, что около этого знаменательного времени и в уездных городах, особенно в великороссийских уездных городах, имеющих не менее одного острога и пяти церквей, произошел весьма замечательный и притом совершенно новый общественный сепаратизм. Общество распалось не только прежним делением на аристократию чина, аристократию капитала и плебейство, но из него произошло еще небывалое дотоле выделение так называемых в то время *новых людей*. Выделение этого ассортимента почти одновременно происходило из весьма различных слоев провинциального общества. Сюда попадали некоторые молодые дворяне, семинаристы, учителя уездные, учителя домашние, чиновники самых различных ведомств и даже духовенство. Справедливость заставляет сказать, что едва ли не ранее прочих и не сильнее прочих в это новое выделение вошли молодые учителя, уездные и домашние; за ними несколько позже и несколько слабее – чиновники, затем, еще моментом позже, зато с неудержимым стремлением сюда ринулись семинаристы. Молодое дворянство шло еще позже и нерешительнее; духовенство сепарировалось только в очень небольшом числе своих представителей.

Все это не были рыцари без пятна и упрека. Прошлое их большею частью отвечало стремлениям среды, от которой они отделялись. Молодые чиновники уже имели руки, запачканные взятками, учителя кланчили за места и некоторые писали оды мерзавнейшим из мерзавнейших личностей; молодое дворянство секало людей и проматывало потовые гроши народа; остальные вели себя не лучше. Все это были люди, слышавшие из уст отцов и матерей, что «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Все эти люди вынесли из родительского дома одно благословение: «будь богат и знатен», одну заповедь: «делай себе карьеру». Правда, иные слы-

хали при этом и «старайся быть честным человеком», но что была эта честность и как было о ней стараться? Случались, конечно, и исключения, но не ими вода освящалась в великом море русской жизни. Лезли в купель люди прокаженные. Все, что вдруг пошло массою, было деморализовано от ранних дней, все слышало ложь и лукавство; все было обучено искать милости, помня, что «ласковое телятко *двух маток сосет*». Все это собиралось сосать двух маток и вдруг бросило обеих и побежало к той, у которой вымя было сухо от долголетнего голода.

Эта эпоха возрождения с людьми, не получившими в наследие ни одного гроша, не взявшими в напутствие ни одного доброго завета, поистине должна считаться одною из великих, поэтических эпох нашей истории. Что влекло этих сепаратистов, как не чувство добра и справедливости? Кто вел их? Кто хоть на время подавил в них дух обуявшего нацию себялюбия, двоедушия и продажности?

Предоставляя решение настоящего вопроса истории, с благоговением преклоняемся перед роком, судившим нам зреть святую минуту пробуждения, видеть лучших людей *эпохи, оплаканной в незабвенных стихах Хомякова*, и можем только воскликнуть со многими: поистине велик твой Бог, земля русская!

Перенеситесь мысленно, читатель, к улетевшим дням этой поэтической эпохи. Вспомните это недавно прошедшее время, когда небольшая горсть *«людей, довременно растленных»*, проснулась, задумалась и зашаталась в своем гражданском малолетстве. Эта горсть русских людей, о которой вспоминает автор, пишущий настоящие строки, быстро росла и хотела расти еще быстрее. В этом естественном желании роста она дорожила своею численностью и, к сожалению, была слишком неразборчива. Она не принимала в расчет рутинной силы среды и не опасалась страшного вреда от шутов и дураков, приставших к ней по страсти к моде. Зная всю тлеть и грязь прошлого, она верила, что проклятие лежит над всякой неподвижностью, и собирала под свое знамя всех, говоривших о необходимости очиститься, омыться и двигаться вперед. Она знала, что в прошлом ей завещано мало достойного сохранения, и не ожидала, что почти одной ей поставят в вину всю тщательно собранную ложь нашего времени.

По словам Хомякова, страна была

В судах черна, неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

Когда распочалась эта пора пробуждения, ясное дело, что новые люди этой эпохи во всем рвались к новому режиму, ибо не видали возможности идти к добру с лезью, ложью, ленью и всякою мерзостью. На великое несчастье этих людей, у них не было вовремя силы отречься от пристававших к ним шутов. Они были более честны, чем политически опытны, и забывали, что один Дон Кихот может убить целую идею рыцарства. Так и случилось. Шуты насмешили людей, дураки их рассердили. Началось ренегатство, и во время стремительного бега назад люди забыли, что гонит их не пошлость дураков и шутов, а тупость общества да собственная трусость. Нет никакого сомнения, что сделаться смешным значит потерять многое; но разве менее смешны другие? Разве перед ними нельзя поставить Сквозника-Дмухановского и заставить его спросить их: «Чего смеетесь? Над собой смеетесь?»

Честная горсть людей, не приготовленных к честному общественному служению, но полюбивших добро и возненавидевших ложь и все лживые положения, виновата своею нерешительностью отречься от приставших к ней дурачков; она виновата недостатком *самообличения*. За пренебрежение этой силой она горько наказана, вероятно к истинному сожалению всех умных и в то же время добрых сынов России. Но все-таки нет никакого основания видеть в

этих людях виновников всей современной лжи, так же как нет основания винить их и в заводе шутов и дураков, ибо и шуты, и дураки под различными знаменами фигурировали всегда и будут фигурировать до века.

В описываемую нами эпоху, когда ни одно из смешных и, конечно, скоропреходящих стремлений людей, лишенных серьезного смысла, не проявлялось с нынешнею резкостью, когда общество слепо верило Белинскому, даже в том, например, что «самый почтенный мундир есть черный фрак русского литератора», добрые люди из деморализованных сынов нашей страны стремились просто к добру. Они не стремились окреститься во имя какой бы то ни было теории, а просто, наивно и честно желали добра и горели нетерпением всячески ему содействовать. Плана у них никакого не было, о крутых, костоломных поворотах во имя теорий им вовсе не думалось. Шло только дело о правде в жизни.

Первым шагом в этом периоде был сепаратизм со всем симпатизировавшим заветам прошедшего. К этому сепаратизму принадлежали почти все знакомые нам до сих пор лица нашего романа. Ему по-своему сочувствовал Егор Николаевич Бахарев и Петр Лукич, пугавшийся всякой обличительной заметки; Вязмитинов, сидевший над историей, и Зарницын, протерпевший уездные величины; доктор, обличающий свое бессилие выбиться из сферы взяточничества, и мать Агния, верная традициям лет своей юности. На стороне старых интересов оставалась масса людей, которых, по их способностям, Эдуард Уитти справедливо называет разрядом плутов или дураков. Это было большинство. Ольга Сергеевна, Зина, Софи оставались с большинством и жили его жизнью.

Женни и Лиза вовсе не принадлежали к прошлому и не имели с ним никакой связи.

По обстоятельствам, Женни должна была познакомиться с некоторыми местными дамами и девицами, но из этого знакомства ничего не вышло. Одни решили, что она много о себе думает; другие, что она ехидная-преехидная: все молчит да выслушивает; третьи даже считали ее на этом же основании интриганкой, а четвертые, наконец, не соглашаясь ни с одним из трех вышеприведенных мнений, утверждали, что она просто дура и кокетка. Около нее, говорили последние, лебезят два молодых учителя, стараясь подделаться к отцу, а она думает, что это за ней увиваются, и дует губы.

Но тем не менее Женни, однако, сильно интересовала собою бедные живыми интересами головы уездных барынь и барышень. Одни ее платья и шляпы доставляли слишком тощую пищу для алчущей сплетни, и потому за ее особою был приставлен особый шпион. В этой должности состояла дочь почтенного сослуживца Гловацкого, восемнадцатилетняя полногрудая Лурлея, Ольга Григорьевна Саренко. Григорий Ильич Саренко, родом из бориспольских дворян, дослуживал двадцать пятый год учителем уездного училища. Он был стар, глуп, довольно подловат и считал себя столпом училища. Он добивался себе какого-то особого уважения от Вязмитинова и Зарницына и, не получая оно, по временам строчил на них секретные ябеды в дирекцию училищ. Дочь свою он познакомил с Женни, не ожидая на то никакого желания со стороны приезжей гостьи или ее отца. На другой же день по приезде Женни он явился под руку с своей Лурлеей и отрекомендовал ее как девицу, с которой можно говорить и рассуждать обо всем самой просвещенной девице.

С тех пор Лурлея начала часто навещать Женни и разносить о ней по городу всякие дразги. Женни знала это: ее и предупреждали насчет девицы Саренко и даже для вящего убеждения сообщали, что именно ею сочинено и рассказано, но Женни не обращала на это никакого внимания.

– Умные и честные люди, – отвечала она, – таким вздорам не поверят и поймут, что это сплетня, а о мнении глупых и дурных людей я никогда не намерена заботиться.

Еще в дом Гловацких ходила соборная дьяконица, Елена Семеновна, очень молоденькая, довольно хорошенькая и превеселая бабочка, беспрестанно целовавшая своего мужа и аккомпанировавшая ему на фортепиано разные всеми давно забытые романсы. И дьяконица, и ее

муж, Василий Иванович Александровский, были очень добрые и простодушные люди, которые очень любили Гловацких и всю их компанию. Сепаратисты тоже любили молодую духовную чету за ее веселый, добрый нрав, искренность и безобидчивость, составляющую большую редкость в уездных обществах.

Таким образом, к концу первого года, проведенного Женею в отцовском доме, ближайший круг ее знакомства составляли: Вязмитинов, Зарницын, дьякон Александровский с женою, Ольга Саренко, состоявшая в должности наблюдателя, отряженного дамским обществом, и доктор. С женою своею доктор не знакомил Женни и вообще постоянно избегал даже всяких о ней разговоров.

Из этих лиц чаще всех бывали у Гловацких Вязмитинов и Зарницын. Редкий вечер Женни проводила одна. Всегда к вечернему чаю являлся тот или другой, а иногда и оба вместе. Усаживались за стол, и кто-нибудь из молодых людей читал, а остальные слушали. Женни при этом обыкновенно работала, а Петр Лукич или растирал в блюдце грушевою ложечкою нюхательный табак, или, подперши ладонями голову, молча глядел на Женни, заменившую ему все радости в жизни. Женни очень любила слушать, особенно когда читал Зарницын. Он, действительно, очень хорошо читал, хотя и вдавался в некоторую не совсем нужную декламацию. Несмотря на то, что Женни обещала читать все, что ей даст Вязмитинов, ее литературный вкус скоро сказался. Она очень тяготилась серьезным чтением и вообще недолюбливала статей. Вязмитинов скоро это заметил и стал снабжать ее лучшими беллетристическими произведениями старой и новой литературы. Выбор всегда был очень разумный, избобличавший в Вязмитинове основательное знание литературы и серьезное понимание влияния известных произведений на ум и сердце читательницы.

Легкий род литературы Женни очень нравился, но и в нем она искала отдыха и удовольствия, а не зачитывалась до страсти.

Вообще она была читательница так себе, весьма не рьяная, хотя и не была равнодушна к драматической литературе и поэзии. Она даже знала наизусть целые страницы Шиллера, Гете, Пушкина, Лермонтова и Шекспира, но все это ей нужно было для отдыха, для удовольствия; а главное у нее было дело делать. Это *дело делать* у нее сводилось к исполнению женских обязанностей дома для того, чтобы всем в доме было как можно легче, отраднее и лучше. И она считала эти обязанности своим преимущественным назначением вовсе не вследствие какой-нибудь узкой теории, а так это у нее просто так выходило, и она так жила.

Зарницын за это упрекал Евгению Петровну, указывая ей на высокое призвание гражданки; Вязмитинов об этом никогда не разговаривал, а доктор, сделавшийся жарким поклонником скромных достоинств Женни, обыкновенно не давал сказать против нее ни одного слова.

– Рудин! Рудин! – кричал он на Зарницына. – Все с проповедями ходишь, на великое служение всех подбиваешь: мать Гракхов сыновей кормила, а ты, смотри, бабки слепой не умори голодом с проповедями-то.

Доктор, впрочем, бывал у Гловацких гораздо реже, чем Зарницын и Вязмитинов: служба не давала ему покоя и не позволяла засиживаться в городе; к тому же, он часто бывал в таком мрачном расположении духа, что бегал от всякого сообщества. Недобрые люди рассказывали, что он в такие полосы пил мертвую и лежал ниц на продавленном диване в своем кабинете.

Когда доктор заходил посидеть вечеров у Гловацких, тогда уж обыкновенно не читали, потому что у доктора всегда было что вытащить на свет из грязной, но не безынтересной ямы, именуемой провинциальною жизнью.

Если же к этому собранию еще присоединялся дьякон и его жена, то тогда и пели, и спорили, и немножко безобразничали.

Кроме того, иногда самым неожиданным образом заходили такие жаркие и такие бесконечные споры, что Петр Лукич прекращал их, поднимаясь со свечью в руке и провозглашая:

«любезные мои гости! жалея ваше бесценное для вас здоровье, никак не смею вас более удерживать», – и все расходились.

Вообще это был кружок очень коротких и очень друг к другу не взыскательных людей.

Подобные кружки сепаратистов в описываемую нами эпоху встречались довольно нередко и составляли совершенно новое явление в уездной жизни.

Людей, входивших в состав этих кружков, связывала не солидарность материальных интересов, а единственно сочувствие совершающемуся пробуждению, общая радость каждому шагу общественного преуспеяния и искреннее желание всех зол прошедшему.

Поэтому короткость тогдашних сепаратистов не парализовалась наступательными и оборонительными диверсиями, разъединившими *новых людей* впоследствии, и была совершенно свободна от нравственной нечисти и растрепанности, вносимых с короткостью людей отходившей эпохи.

Тут все имело только свое значение. Было много веры друг в друга, много простоты и снисходительности, которых не было у отцов, занимавших соответственные социальные амплуа, и нет у детей, занимающих амплуа даже гораздо выгоднейшие для водворения простоты и правды житейских отношений.

Уездный *l'ancien régime*⁸ не мог понять настоящих причин дружелюбия и короткости кружка наших знакомых.

Дождется, бывало, Вязмитинов смены уроков, идет к Евгении Петровне и молча садится против нее по другую сторону рабочего столика.

Женни тоже молча взглянет на него своим ласковым взглядом и спросит:

– Устали?

– Устал, – ответит Вязмитинов.

– Не хотите ли чашку кофе, или водочки? – спросит Женни, по-прежнему не отрывая глаз от работы.

– Нет, не хочу; я так пришел отдохнуть и посмотреть на вас.

Перекинутся еще десятком простых, малозначащих слов и разойдутся до вечера.

– Евгения Петровна! – восклицает, влетая спешным шагом, красивый Зарницын.

– Ах! что такое сотворилось! – улыбаясь и поднимая те же ласковые глаза, спрашивает Женни всегда немножко рисующегося и увлекающегося учителя.

– Умираю, Евгения Петровна.

– Какая жалость!

– Вам жаль меня?

– Да как же!

– Читать некому будет?

– Да, и суетиться некому станет.

– Ах, Евгения Петровна! – делая жалкую рожицу, восклицает учитель.

– Верно, водочки дать?

– С грибочком, Евгения Петровна.

Женни засмеется, положит работу и идет с ключами к заветному шкафику, а за ней в самой почтительной позе идет Зарницын за получением из собственных рук Женни рюмки травничку и маринованных грибков на чайном блюде.

– Пошел, пошел, баловник, на свое место, – с шутливою строгостью ворчит, входя, Петр Лукич, относясь к Зарницыну. – Звонок прозвонил, а он тут угощается. Что ты его, Женни, не гоняешь в классы?

⁸ старый порядок (*франц.*).

Возьмет Гловацкий педагога тихонько за руку и ведет к двери, у которой тот проглатывает последние грибки и бежит внушать уравнения с двумя неизвестными, а Женни подает закуску отцу и снова садится под окно к своему столику.

Доктор пойдет в город, и куда бы он ни шел, все ему смотрительский дом на дороге выйдет. Забежит на минутку, все, говорит, некогда, все торопится, да и просидит битый час против работающей Женни, рассказывая ей, как многим худо живется на белом свете и как им могло бы житься совсем иначе, гораздо лучше, гораздо свободнее.

И ни разу он не вскипятится, рассуждая с Женни, ни разу не впадет в свой обыкновенно резкий, раздражительный тон, а уходя, скажет:

– Дайте, Евгения Петровна, поцеловать вашу ручку.

Женни спокойно подает ему свою белую ручку, а он спокойно ее поцелует и пойдет повеселевший и успокоенный.

Гловацкая никогда не скучала и не тяготилась тихим однообразием своей жизни. Напротив, она полюбила ее всем сердцем, и все ей было мило и понятно в этой жизни. Она понимала и отца, и Вязмитинова, и доктора, и условия, в которых так или иначе боролись представлявшие ей люди, и осмыслена была развернутая перед ее окном широкая страница вечной книги. Уйдут, бывало, ежедневные посетители, рассказав такой или другой случай, выразив ту или другую мысль, а эта мысль или этот рассказ копошатся в молодой головке, складываются в ней все определеннее, формулируются стройно выраженным вопросом и предстают на строгий, беспристрастный суд, не сходя с очереди прежде, чем дождутся обстоятельного решения.

По колоссальной живой странице, глядя на которую Евгения Петровна задумала свои первые девичьи думы, текла тихая мелководная речка с некрутыми черноземными берегами. Берег, на котором стоял город, был еще несколько круче, а противоположный берег уже почти совсем отлог, и с него непосредственно начиналась огромная, кажется, только в одной просторной России возможная, пойменная луговина. Расстилалась эта луговина по тот бок речки на такое далекое пространство, что большая раскольничья деревня, раскинутая у предгорья, заканчивавшего с одной стороны луговую пойму, из города представлялась чем-то вроде длинного обоза или даже овечьего стада. Вообще низенькие деревенские домики казались не выше луговых кочек, усевшихся на переднем плане необъятного луга. А когда бархатная поверхность этого луга мало-помалу серела, клочилась и росла, деревня вовсе исчезала, и только длинные журавли ее колодцев медленно и важно, как бы по собственному произволу, то поднимали, то опускали свои шеи, точно и в самом деле были настоящие журавли, живые, вольные птицы божьи, которых не гнет за нос к земле веревка, привязанная человеком. По горе росли горох и чечевица, далее влево шел глубокий овраг с красно-бурыми обрывами и совершенно черными впадинами, дававшими некогда приют смелым удалцам Степана Разина, сына Тимофеевича. Затем шел старый сосновый лес, густою, черно-синюю щеткою покрывавший гору и уходивший по ней под самое небо; а к этому лесу, кокетливо поворачиваясь то в ту, то в другую сторону, подбегала мелководная речечка, заросшая по загибинам то звонким красноватым тростником, махавшим своими переломленными листочками, то зелено-синим початником. Много этого початника росло по мелководной речке Саванке. Вымечется этот початник, и славно смотреть на него издали. На одних стеблях качаются развесистые кисточки с какими-то красными узелками, точно деревенские молодки в бахромчатых повязках. А на других стеблях все высокие, черные, бархатистые султаны; ни дать ни взять те прежние султаны, что высоко стояли и шатались на высоких гренадерских шапках. Смирно стоят в воздухе гордые, статные гренадеры в высоком синем ситнике, и только более шаткие, спрятавшиеся в том же ситнике молодочки кокетливо потряхивают своими бахромчатыми красноватыми повязочками. А дунет ветерок, гренадеры зашатаются с какими-то решительными намерениями, повязочки суетливо метнутся из стороны в сторону, и все это вдруг пригнется, юркнет в густую чащу початника; наверху не останется ни повязочки, ни султана, и только синие лопасти холостых

стеблей шумят и передвигаются, будто давая кому-то место, будто сговариваясь о секрете и стараясь что-то укрыть от звонкого тростника, вечно шумящего своими болтливыми листьями. Пронесется тучка, сбежит ветерок, и из густой травы снова выпрыгивают гренадерские султаны, и за ними лениво встают и застенчиво отряхиваются бахромчатые повязочки.

Вид этот изменялся несколько раз в год. Он не похож был на наше описание раннею весною, когда вся пойма покрывалась мутными водами разлива; он иначе смотрел после Петрова дня, когда по пойме лежали густые ряды буйного сена; иначе еще позже, когда по убранному лугу раздавались то тихое ржание сосуночка, то неистово-страстный храп спутанного жеребца и детский крик малолетнего табунщика. Еще иначе все это смотрело позднею осенью, когда пойма чернела и покрывалась лужами, когда черные, бархатные султаны становились белыми, седыми, когда между ними уже не мелькали бахромчатые повязочки и самый ситник валился в воду, совершенно обнажая подопревающие цибастые ноги гренадер. Дул седовласый Борей, и картина вступала в свою последнюю смену: пойма блестела белым снегом, деревня резко обозначалась у подгорья, овраг постепенно исчезал под нивелирующею рукою пушистой зимы, и просвирнины гуси с глупою важностью делали свой променад через окаменевшую реку. Редкий из седых гренадеров достоин до этого сурового времени и, совершенно потерявшись, ежится бедным инвалидом до тех пор, пока просвирнина старая гусыня подойдет к нему, дернет для своего развлечения за вымерзлую ногу и бросит на потеху холодному ветру.

В смотрительском флигеле все спали тихим, но крепким сном, когда меревский Нарцис заколотил кнутовищем в наглухо запертые ворота.

Через полчаса после этого стука кухарка, зевая и крестясь, вошла со свечою в комнату Евгении Петровны.

Девушку как громом поразило известие о неожиданном и странном приезде Лизы в Мерево. Протянув инстинктивно руку к лежавшему на стуле возле ее кровати ночному шлафору, она совершенно растерялась и не знала, что ей делать.

– Прочитайте, матушка, письмо-то, – сказала ей Пелагея.

Женни бросила шлафор и, сидя в постели, развернула запечатанное письмо доктора.

«Спешите как можно скорее в Мерево, – писал доктор. – Ночью неожиданно приехала Лизавета Егоровна, больная, расстроенная и переизбитая. Мы ее ни о чем не расспрашивали, да это, кажется, и не нужно. Я останусь здесь до вашего приезда и даже далее, если это будет необходимо; но, во всяком случае, она очень потрясена нравственно, и вы теперь для нее всех нужнее.

Д. Розанов».

Через час Женни села в отцовские сани. Около нее лежал узелок с бельем, платьем и кое-какой домашней провизией.

Встревоженный Петр Лукич проводил дочь на крыльцо, перекрестил ее, велел Яковлевичу ехать поскорее и, возвратясь в залу, начал накручивать опустившиеся гири стальных часов.

На дворе брезжилось, и стоял жестокий крещенский мороз.

Глава двадцать вторая

Утро мудренее вечера

В одиннадцать часов довольно ненастного зимнего дня, наступившего за бурною ночью, в которую Лиза так неожиданно появилась в Мереве, в бахаревской сельской конторе, на том самом месте, на котором ночью спал доктор Розанов, теперь весело кипел не совсем чистый самовар. Около самовара стояли четыре чайные чашки, чайник с обделанным в олово носиком, молочный кубан с несколько замерзшим сверху настоем, бумажные сверточки чаю и сахару и связка баранок. Далее еще что-то было завязано в салфетке.

За самоваром сидела Женни Гловацкая, а напротив ее доктор и Помада.

Женни хозяйничала.

Она была одета в темно-коричневый ватощник, ловко подпоясанный лакированным поясом и застегнутый спереди большими бархатными пуговицами, нашитыми от самого воротника до самого подола; на плечах у нее был большой серый платок из козьего пуха, а на голове беленький фламандский чепчик, красиво обрамлявший своими оборками ее прелестное, разгоревшееся на морозе личико и завязанный у подбородка двумя широкими белыми лопастями. Густая черная коса в нескольких местах выглядывала из-под этого чепца буйными кольцами.

Евгения Петровна была восхитительно хороша в своем дорожном неглиже, и прелесть впечатления, производимого ее присутствием, была тем обаятельнее, что Женни нимало этого не замечала.

Прелесть эту зато ясно ощущали доктор и Помада, и влияние ее на каждом из них выражалось по-своему.

Евгения Петровна приехала уже около полутора часа назад и успела расспросить доктора и Помаду обо всем, что они знали насчет неожиданного и странного прибытия Лизы.

Сведения, сообщенные ими, разумеется, были очень ограничены и нимало не удовлетворили беспокойного любопытства девушки.

Теперь уже около получаса они сидели за чаем и все молчали.

Женни находилась в глубоком раздумье; молча она наливала подаваемые ей стаканы и молча передавала их доктору или Помаде.

Помада пил чай очень медленно, хлебая его ложечкою, а доктор с каким-то неестественным аппетитом выпивал чашку за чашкою и давил в ладонях довольно черствые уездные баранки.

– Хорошо ли это, однако, что она так долго спит? – спросила, наконец, шепотом Женни.

– Ничего, пусть спит, – отвечал доктор и опять подал Гловацкой опорожненную им чашку.

В контору вошла птичница, а за нею через порог двери клубом перекатилось седое облако холодного воздуха и поползло по полу.

– Лекаря спрашивают, – проговорила птичница, относясь ко всей компании.

– Кто? – спросил доктор.

– Генеральша прислали.

– Что ей?

– Просить велела беспрерывно.

– Что бы это такое? – проговорил доктор, глядя на Помаду.

Тот пожал в знак совершенного недоумения плечами и ничего не ответил.

– Скажи, что буду, – решил доктор и махнул бабе рукою на дверь.

Птичница медленно повернулась и вышла, снова впуская другое, очередное облако стоявшего за дверью холода.

– Больна она, что ли? – спросил доктор.

– Не знаю, – отвечал Помада.

– Ты же вчера набирал там вино и прочее.

– Я у ключницы выпросил.

За тонкую тесовую дверь скрипнула кровать.

Общество молча взглянуло на перегородку и внимательно прислушивалось.

Лиза кашлянула и еще раз повернулась.

Гловацкая встала, положила на стол ручник, которым вытирала чашки, и сделала два шага к двери, но доктор остановил ее.

– Подождите, Евгения Петровна, – сказал он. – Может быть, это она во сне ворочается.

Не мешайте ей: ей сон нужен. Может быть, за все это она одним сном и отделается.

Но вслед за ним Лиза снова повернулась и проговорила:

– Кто там шепчется? Пошлите ко мне, пожалуйста, какую-нибудь женщину.

Гловацкая тихо вошла в комнату.

– Здесь лампада гаснет и так воняет, что мочи нет дышать, – проговорила Лиза, не обращая никакого внимания на вошедшую.

Она лежала, обернувшись к стене.

Женни встала на стул, загасила догоравшую лампаду, а потом подошла к Лизе и остановилась у ее изголовья.

Лиза повернулась, взглянула на своего друга, откинулась назад и, протянув обе руки, радостно воскликнула:

– Женька! какими судьбами?

Подруги несколько раз кряду поцеловались.

– Как ты это узнала, Женька? – спрашивала между поцелуями Лиза.

– Мне дали знать.

– Кто?

– Доктор записку прислал.

– А ты и приехала?

– А я и приехала.

– Гадкая ты, моя ледышка, – с намернувшимися на глазах слезами сказала Лиза и, схватив Женину руку, жарко ее поцеловала.

Потом обе девушки снова поцеловались, и обе повеселели.

– Ну, чаю теперь хочешь?

– Давай, Женни, чаю.

– А одеваться?

– Я так напыюсь, в постели.

– А мужчины? – прошептала Женни.

– Что ж, я в порядке. Зашпиль мне кофту, и пусть придут.

– Господа! – крикнула она громко. – Не угодно ли вам прийти ко мне. Мне что-то встать не хочется.

– Очень, очень угодно, – отвечал, входя, доктор и поцеловал поданную ему Лизой руку.

За ним вошел Помада и, по примеру Розанова, тоже приложился к Лизиной ручке.

– Вот теплая простота и фамильярность! – смеясь, заметила Лиза, – патриархальное лобызание ручек!

– Да; у нас по-деревенски, – ответил доктор.

Помада только покраснел, и голова потянула его в угол.

Женни вышла в контору налить Лизе чашку чаю.

– Ну, а о здоровье, кажется, слава богу, нечего спрашивать? – шутливо произнес доктор.

– Кажется, ничего: совсем здорова, – отвечала Лиза.

– Дайте-ка руку. Лиза подала руку.

– Ну, передразнитесь теперь.

Лиза засмеялась и показала доктору язык.

– Все в порядке, – произнес он, опуская ее руку, – только вот что это у вас глаза?

– Это у меня давно.

– Болят они у вас?

– Да. При огне только.

– Отчего же это?

– Доктор Майер говорил, что от чтения по ночам.

– И что же делал с вами этот почтенный доктор Майер?

– Не велел читать при огне.

– А вы, разумеется, не послушались?

– А я, разумеется, не послушалась.

– Напрасно, – тихо сказал Розанов и встал.

– Куда вы? – спросила его Женни, входившая в это время с чашкою чаю для Лизы.

– Пойду к Меревой. Мое место у больных, а не у здоровых, – произнес он с комического важною на лице и в голосе.

– Когда бывает вам грустно, доктор? – смеясь, спросила Гловацкая.

– Всегда, Евгения Петровна, всегда, и, может быть, теперь более, чем когда-нибудь.

– Этого, однако, что-то не заметно.

– А зачем же, Евгения Петровна, это должно быть заметно?

– Да так... прорвется...

– Да, прорваться-то прорвется, только лучше пусть не прорывается. Пойдем-ка, Помада!

– Куда ж вы его-то уводите?

– А нельзя-с; он должен идти читать свое чистописание будущей графине Бутылкиной.

Пойдем, брат, пойдем, – настаивал он, взяв за рукав поднявшегося Помаду, – пойдем, отделайся скорее, да и к стороне. В город вместе махнем к вечеру.

Девушки остались вдвоем.

Долго они обе молчали.

Спокойствие и веселость снова слетели с лица Лизы, бровки ее насупились и как будто ломались посередине.

Женни сидела, подперши голову рукою, и, не сводя глаз, смотрела на Лизу.

– Что ж такое было? – спросила она ее наконец. – Ты расскажи, тебе будет легче, чем так.

Сама супишься, мы ничего не понимаем: что это за положение?

Лиза молчала.

– История была? – спросила спустя несколько минут Гловацкая.

– Да.

– Большая?

– Нет.

– Скверная?

– То есть какая скверная? В каком смысле?

– Ну, неприятная?

– Да, разумеется, неприятная.

– У вас дома?

– Нет.

– Где же?

– У губернатора на бале.

– Ты была на бале?

– Была. Это третьего дня было.

– Ну, и что ж такое?

– И вышла история.

– Из-за чего же?

– Из-за вздора, из глупости, из-за тебя, из-за чего ты хочешь... Только я об этом нимало не жалею, – добавила Лиза, подумав.

– И из-за меня!

– Да, и из-за тебя частично.

– Ну, говори же, что именно это было и как было.

– Я ведь тебе писала, что я довольно счастлива, что мне не мешают сидеть дома и не заставляют являться ни на вечера, ни на балы?

– Ну, писала.

– Недавно это почему-то вдруг все изменилось. Как начались выборы, мать решила, что мне невозможно оставаться дома, что я непременно должна выезжать. По этому поводу шел целый ряд отвратительно нежных трагикомедий. Чтобы все кончить, я уступила и стала ездить. Третьего дня злая-презлая я поехала на бал с матерью и с Софи. Одевая меня, мне турчала в голову няня, и тут, между прочим, я имела удовольствие узнать, что мною «антересуется» этот молодой богач Игин. Дорогою мать запела. Пела, пела и допелась опять до Игина. Злость меня просто душила. Входим: в дверях встречают Канивцов и Игин. Канивцов за Софи, а тот берет за меня! Мне стало скверно, я ему сказала какую-то дерзость. Он отошел. Зовет меня танцевать – я не пошла. Мать – выговор. Я увидела, что в одной зале дамы играют в лото, и усе-лась с ними, чтобы избавиться от всевозможных приглашений. Мать совсем надулась. «Иди, говорит, порезвись, потанцуй». Я поблагодарила и говорю, что я в выигрыше, что мне очень везет, что я хочу испытать мое счастье. Мать еще более надулась. Перед ужином я отошла с Зининым мужем к окну; стоим за занавеской и болтаем. Он рассказывал, как дворяне сговари-вались забаллотировать предводителя, и вдруг все единогласно его выбрали снова, посадили на кресла, подняли, понесли по зале и, остановясь перед этой дурой, предводительшей, кото-рая сидела на хорах, ни с того ни с сего там что-то заорали, ура, или рады стараться.

– Ты сошлась с Зининым мужем? – спросила Женни.

– Да. Он совсем не дурной человек и поумнее многих. Ну, – продолжала она после этого отступления, – болтаем мы стоя, а за колонной, совсем почти возле нас, начинается разговор, и слышу то мое, то твое имя. Это ораторствовал тот белобрысый губернаторский адъютант: «Я, говорит, ее еще летом видел, как она только из института ехала. С нею тогда была еще приятельница, дочь какого-то зрителя. Прелесть, батюшка рассказывает, что такое. Белая, стройная, коса, говорит, такая, глаза такие, шея такая, а плечи, плечи...»

Женни вспыхнула и прошептала:

– Какой дурак!

– Ну, словом, точно лошадь тебя описывает, и вдобавок, та, говорит, совсем не то, что эта; та (то есть ты-то) совсем глупенькая... Фу, черт возьми! – думаю себе, что же это за наглец. А Игин его и спрашивает (он все это Игину рассказывал): «А какого вы мнения о Бахарева?» – «Так, говорит, девочка ничего, смазливенькая, *годится*». Слышишь, *годится*? Годится! Ну, знаешь, что это у них значит, на их скотском языке... Это подлость... «А об уме ее, о характере что вы думаете?» – опять спрашивает Игин. «Ничего; она, говорит, не дура, только избалована, много о себе думает, первой умницей себя, кажется, считает». – И сейчас же рассуждает: «Но ведь это, говорит, пройдет; это там, в институте, да дома легко прослыть умницею-то, а в свете, как раз да два щелкнуть хорошенько по курносому носику-то, так и опустит хохол». Можешь ты себе вообразить мое положение! Но стою, молчу, а он еще далее разъезжает: «Я, говорит, если бы она мне нравилась, однако, не побоялся бы на ней жениться. Я умею их школить. Им только не надо давать потачки, так они шелковые станут. Я бы ее скоро молчать заставил. Я бы ее то, да я бы ее то заставил делать» – только и слышно... Ну, ничего. – За ужином я села между Зиной и ее мужем и ни с кем посторонним не говорила. И простилась, и вышло все это

прекрасно, благополучно. Но уж в передней, стали мы надевать шубы и сапоги, – вдруг возле нас вырастают Игин и адъютант. Народу ужас сколько; ничего не допросишься и не доищешься. Этот болванчик с своими услугами. Приносит шубы и сапоги. Я взяла у него шубу и подаю ее своему человеку: «Подержи, говорю, Алексей, пожалуйста», и сама надеваю. «Отчего ж вы мне не позволили иметь эту честь?» – вдруг обращается ко мне эта мразь. «Какую, говорю, честь?» – «Подать вам шубу». Я совершенно холодно отвечала, что лакейские обязанности, по моему мнению, никому не могут доставить особенной чести. – Нет-таки, нейдется! «Зато, говорит, в иных случаях они могут доставить очень большое удовольствие», – и сам осклабляется. Даже жалок он мне тут стал, и я так-таки, совсем без всякой злости, ему буркнула, что «это дело вкуса и натуры». А он, вообрази ты себе, верно тут свою теорию насчет укрощения нравов вспомнил; вдруг принял на себя этакой какой-то смешной, даже вовсе не свойственный ему, серьезный вид и этаким, знаешь, внушающим тоном и так, что всем слышно, говорит: «Извините, mademoiselle, я вам скажу франшеман,⁹ что вы слишком резки». Мне припомнился в эту секунду весь его пошлый разговор и хвастовство. Вся кровь моя бросилась в лицо, и я ему так же громко ответила: «Извините и меня, monsieur, я тоже скажу вам франшеман, что вы дурак».

И слушательница, и рассказчица разом расхохотались.

– Ай-ай-ай! – протянула Гловацкая, качая головой.

– Да, айкай сколько угодно.

– Да как же это ты, Лиза?

– А что же мне было делать? – раздражительно и с гримасой спросила Бахарева.

– Могла бы ты иначе его остановить.

– Так лучше: один прием, и все кончено, и приставать более не будет.

Женни опять покачала головой и спросила:

– Ну, а дальше что же было?

– А дальше дома были обмороки, стенания, крики «опозорила», «осрамила», «обесчестила» и тому подобное. Даже отец закричал и даже...

Лиза вспыхнула и добавила дрожащим голосом:

– Даже – толкнул меня в плечо. Потом я целую ночь проплакала в своей комнате; утром рано оделась и пошла пешком в монастырь посоветоваться с теткой. Думала упросить тетку взять меня к себе, – там мне все-таки с нею было бы лучше. Но потом опять пришло мне на мысль, что и там сахар, хоть и в другом роде, да и отец, пожалуй, упрется, не пустит, а тут покачаловский мужик Сергей едет. – Овес, что ли, провозил. – Я села в сани да вот и приехала сюда. Только чуть не замерзла дорогой, – даже оттирали в Покачалове. Одета была скверно. Но ничего, – это все пройдет, а уж зато теперь меня отсюда не возьмут.

– Ты здесь решила жить?

– Решила.

– Одна?

– Да, до лета, пока наши в городе, буду жить одна.

– Что ж это такое, мой милый доктор, значит? – выслав всех вон из комнаты, расспрашивала у Розанова камергерша Мерера.

– А ничего, матушка, ваше превосходительство, не значит, – отвечал Розанов. – Семейное что-нибудь, разумеется, во что и входить-то со стороны, я думаю, нельзя. Пословица говорится: «свои собаки грызутся, а чужие под стол». О здоровье своем не извольте беспокоиться: начнется изжога – магнезии кусочек скушайте, и пройдет, а нам туда прикажите теперь при-слать бульонцу да кусочек мяса.

– Как же, как же, я уж распорядилась.

⁹ откровенно (франц.)

– Вот русская-то натура и в аристократке, а все свое берет! Прежде напой и накорми, а тогда и спрашивай.

Ну, уж ты льстец, ты наговоришь, – весело шутила задобренная камергерша.

Глава двадцать третья

Из большой тучи маленький гром

Вечером, когда сумрак сливает покрытые снегом поля с небом, по направлению от Мерева к уездному городу ехали двое небольших пошевней. В передних санях сидели Лиза и Гловацкая, а в задних доктор в огромной волчьей шубе и Помада в вытертом котиковом тулупчике, который по милости своего странного фасона назывался «халатиком».

Дорога была очень тяжкая, снежная, и сверху опять порошил снежок.

– Хорошие девушки, – проговорил Помада, как бы отвечая на свою долгую думу.

– Да, хорошие, – отвечал молчаливый до сих пор доктор.

Можно было полагать, что и его думы бродили по тому же тракту, по которому путались мысли Помады.

– А которая из них, по-твоему, лучше? – спросил шепотом Помада, обернувшись лицом к воротнику докторской шубы.

– А по-твоему, какая? – спросил, смеясь, доктор.

– Я, брат, не знаю; не могу решить. Я их просто боюсь.

Доктор рассмеялся.

– Ну, которой же ты больше боишься?

– Обоих, братец ты мой, боюсь.

– Ну, а которой больше-то? Все же ты которой-нибудь больше боишься.

– Нет, равно боюсь. Эта просто бедовая; говори с ней, да оглядывайся; а та еще хуже.

Доктор опять рассмеялся самым веселым смехом.

– Ну, а в которую ты сильнее влюблен? – спросил он шепотом.

– Ну-ну! Черт знает что болтаешь! – отвечал Помада, толкнув доктора локтем, и, подумав, прибавил – как их полюбить-то?

– Отчего же?

– Да так. Перед этой, как перед грозным ангелом, стоишь, а та такая чистая, что где ты ей человека найдешь. Как к ней с нашими-то грязными руками прикоснуться.

Доктор задумался.

– Вы это что о нас с Лизой распускаете, Юстин Феликсович? – спрашивала на другой день Гловацкая входящего Помаду.

Это было вечером за чайным столом.

Помада покраснел до ушей и уронил свою студенческую фуражку.

Все сидевшие за столом рассмеялись. А за столом сидели: Лиза, Гловацкий, Вязмитинов (сделавшийся давно ежедневным гостем Гловацких), доктор и сама Женни, глядевшая из-за самовара на сконфуженного Помаду.

– Оправься, – скомандовал доктор. – Не о чем ином идет речь, как о твоей боязни пред Лизаветой Егоровной и Евгенией Петровной. Проболтался, сердце мое, – прости.

– Да, да, Юстин Феликсович, чего ж это вы нас боитесь-то?

– Я не говорил.

– А так вы, доктор, и сочинять умеете!

– Помада! и ты, честный гражданин Помада, не говорил? Трус ты, – самообличения в тебе нет.

– Чем же мы такие страшные? – приставала Женни, развеселившаяся сегодня более обыкновенного.

– Чистотой! – решительно ответил Помада.

– Че-ем?

– Чистотой.

Опять все засмеялись.

– Так нас и любить нельзя? – спросила Женни.

– «Страшно вас любить», – проговорил Помада, оправляясь и вспоминая песенку, некогда слышанную им от цыганок в Харькове.

– И отлично, Помада. Бойтесь нас, а то, в самом деле, долго ли до греха, – влюбитесь. Я ведь, говорят, недурна, а Женни – красавица; вы же, по общему отзыву, сердечкин.

– Кто это вам врет, Лизавета Егоровна? – ожесточенно и в то же время сильно обиженно крикнул Помада.

– А-а! разве можно так говорить с девушками?

– Подлость какая! – воскликнул Помада опять таким оскорбленным голосом, что доктор счел нужным скорее переменить разговор и спросил:

– А в самом деле, что же это, однако, с вашими глазами, Лизавета Егоровна?

– Да болят.

– Так это не с холоду только?

– Нет, давно болят.

– Ну, вы смотрите: это не шутка. Шутя этак, можно и ослепнуть.

– Я очень много читаю и не могу не читать. Это у меня какой-то запой. Что же мне делать?

– Я вам буду читать, – чистым и радостным голосом вдруг вызвался Помада.

И так счастливо, так преданно и так честно глядел Помада на Лизу, высказав свою просьбу заслонить ее больные глаза своими, что никто не улыбнулся. Все только случайно взглянули на него, совсем с хорошими чувствами, и лишь одна Лиза вовсе на него не взглянула, а небрежно проронила:

– Хорошо, – читайте.

– Дома все? – крикнул из передней голос, заставивший вздрогнуть целую компанию.

– Дома, и милости просим, – отвечал Гловацкий, вставая, и, взяв со стола одну из двух свечек, пошел навстречу гостю.

Лиза молча встала и пошла за Гловацким.

В передней был Егор Николаевич Бахарев и Марина Абрамовна.

Когда Гловацкий осветил до сих пор темную переднюю, Бахарев стоял, нагнув свою голову к Абрамовне, а она обивала своими белыми шерстяными вязанками с синей надвязкой густой слой снега, насевшего в воротник господской медвежьей шубы.

– Снежно, видно, стало? – спросил Гловацкий.

– Занесло, брат, совсем, – отвечал Бахарев самым веселым тоном.

«Ого!» – подумал Петр Лукич.

«Ого!» – подумали прочие, и все повеселели.

– Здравствуйте! – говорил Бахарев, целуя по ряду всех. – Здравствуй, Лизок! – добавил он, обняв, наконец, стоявшую Лизу, поцеловал ее три раза и потом поцеловал ее руку.

Возобновили чай. Разговор шел веселый и нимало не касался Лизы. Только Абрамовна поздоровалась с нею несколько сухо, тогда как Женни она расцеловала и огладила ее головку.

– Кушай, нянечка, – сказала Женни, подавая Абрамовне в свою спальню стакан чаю со сливками и большим ломтем домашней булки.

– Спасибо тебе, моя красавица, – отвечала Абрамовна и поцеловала в лоб Женни.

– Кушай, няня, еще, – сказала Лиза, подавая Абрамовне другой стакан.

– Не беспокойся, умница, – отвечала Абрамовна, отворачиваясь искать чего-то неположного.

А Егор Николаевич рассказывал о выборах, шутил и вообще был весел, но избегал разговора с дочерью.

Только выходя из-за ужина, когда уже не было ни Розанова, ни Вязмитинова, он сам запер за ними дверь и ласково сказал:

– Я тебе, Лиза, привез Марину. Тебе с нею будет лучше... Книги твои тоже привез... и есть тебе какая-то записочка от тетки Агнесы. Куда это я ее сунул?.. Не знаю, что она тебе там пишет.

Старик вынул из бумажника письмо и подал его Лизе.

«Я на тебя сердита, Лиза, – писала мать Агния племяннице. – Таких штук выкидывать нельзя, легкое ли дело, что мы передумали? Разве это хорошо? Посмотри ты на своего отца, который хотел тебя избранить и связать, а потом, как ребенок, рад лететь к тебе на старости лет. Я тебя нисколько не защищала и теперь говорю с тобою как с женщиною, одаренною умом и великодушием. Я говорю с тобою как с Бахаревою (в этом месте Лиза сделала гримаску, которую нельзя было истолковать в пользу родовых аргументаций матери Агнии). Посмотри ты на старика! Он ведь весь осунулся. Разве это можно так поступать, дитя мое? Он не только твой отец, но он еще старик, целую жизнь честно исполнявший то, что ему казалось его человеческим долгом. Ты боишься людской черноты и пошлости, бойся же, друг мой, гадчайшего порока в жизни, – бойся пренебрежительности и нетерпимости, и верь или не верь в Бога, а верь, что даже в этой жизни есть неотразимый закон возмездия, помни, что проклято то сердце, которое за любовь не умеет заплатить даже состраданием.

*Твоя тетка
инокиня Агния.*

Р. С. Никакого насилия, никаких резкостей против тебя употреблено не будет, только не бунтуйся ты сама, бога ради».

Прочитав это письмо, Лиза тщательно сложила его, сунула в карман, потом встала, подошла к отцу, поцеловала его самого и поцеловала его руку.

– Что? что, мой котенок? – спросил совсем расцветший старик.

– Я очень виновата перед вами, папа.

– Да, кажется, – отвечал старик, смагивая нервную слезу и притворяясь, что ему попал в глаза дым.

– Но я не могла поступить иначе, – заметила Лиза.

– Ну, бог с тобой, если не могла.

Лиза опять обезоружилась.

– Но все-таки я виновата, – простите меня.

Бахарев нагнул дочь к себе и поцеловал ее.

– Тетя пишет, что вы не будете меня принуждать... Позвольте мне жить зиму в деревне.

– Да живи, живи! Я тебе нарочно Марину привез, и книги тебе твои привез. Живи, бог с тобой, если тебе нравится.

Лиза снова расцеловала отца, и семья с гостями разошлась по своим комнатам. Бахарев пошел с Гловацким в его кабинет, а Лиза пошла к Женни.

Скоро все улеглось и заснуло.

Легко было всем засыпать, глядя вслед беспокоившей их огромной туче, из которой вышел такой маленький гром.

Только один старик Бахарев часто вздыхал и ворочался, лежа на мягком диване в кабинете Гловацкого.

Наконец, далеко за полночь, тоска его одолела: он встал, отыскал впотьмах свою трубку с черешневым чубуком, раскурил ее и, тяжело вздохнув старую грудью, в одном белье присел в ногах у Гловацкого.

– Что ты не спишь? – спросил его пробудившийся Петр Лукич.

- Не спится, Петруха, – растерянно отвечал старик.
 - Перестань думать-то.
 - Не могу, брат. Жаль мне ее, а никак ничего не пойму.
 - Оставь времени делать свое дело.
 - Да что оставлять, когда ничего не пойму! Вижу, что не права она, а жаль. И что это такое? что это такое в ней?
 - Нрав, брат, такой! стремления...
 - Да какие же стремления?
 - То-то: век, идеи, – все это...
 - Да что за идеи-то, ты мне разъясни?
 - Пытливость разума, ну, беспокойство... пройдет все.
- Бахарев затащился, осветил комнату разгоревшимся табаком, потом, спустив трубку с колен, лениво, но с особенным тщанием и ловкостью осадил большим пальцем правой ноги поднявшийся из нее пепел и, тяжело вздохнув, побрел неслышными шагами на диван.
- Я, Лизок, оставил Николаю Степановичу деньжонок. Если тебе книги какие понадобятся, он тебе выпишет, – говорил Бахарев, прощаясь на другой день с дочерью.
 - Очень благодарю вас, папа.
 - Да. Я заеду в Мерево, обряжу тебе залу и мой кабинет, а ты тут погости дня два-три, пока дом отойдет.
 - Хорошо-с.
 - Ну, будь здорова. А к нам побываешь? Побывай: я лошадей тебе оставлю. Будь же здорова; Христос с тобою.
- Бахарев перекрестил дочь и уехал, а Лиза осталась одна, самостоятельной госпожой своих поступков.

Глава двадцать четвертая В пустом доме

Вся наша знакомая уездная молодежь немного размышляла о положении Лизы, но все были очень рады ее переселению в Мерево. Надеялись беспрестанно видеть ее у Гловацких, рассчитывали вместе читать, гулять, спорить и вообще разгонять, чем бог пошлет, утомительное *semper idem*¹⁰ уездной жизни.

А дело вышло совсем иначе.

Лиза как уехала в Мерево, так там и засела. Правда, в два месяца она навестила Гловацкую раза четыре, но и то, как говорится, приезжала словно жару хватить. Приедет утречком, посидит, вытребует к себе Вязмитинова, сообщит ему свои желания насчет книг и домой соби-
рается.

– Что это с тобой делается, Лиза? – спрашивала ее Гловацкая: – я просто не узнаю тебя. Сердишься ты на меня, что ли?

– За что же мне на тебя сердиться, – я нимало к тебе не изменяюсь.

– Чего же ты от нас скрываешься?

– Я не скрываюсь.

– То, бывало, жалуешься, что нельзя к нам ездить, а теперь едва в две недели раз глаза покажешь, да и то на одну минуту. Что этому за причина?

– Какая же тут причина нужна? Мне очень хорошо теперь у себя дома; я занимаюсь – вот и вся причина.

Женни и спрашивать ее перестала, а если, бывало, скажет ей, прощаясь: «приезжай скорее, Лиза», то та ответит «приеду», да и только.

– Что же Лизавета Егоровна? – спрашивали Гловацкую доктор, Вязмитинов и Зарницын. Женни краснела при этом вопросе. Ей было досадно, что Лиза так странно ставит дело.

– Уж не поссорились ли вы? – спрашивал ее несколько раз отец.

– Фуй, папа! что вам за мысль пришла? – отвечала, вся вспыхнув, Женни.

– То-то, я думаю, чту бы это сделалось: были такие друзья, а тут вдруг и охладели.

Женни становилось обидно за свое чувство, беспричинно заподозриваемое по милости странного поведения Лизы.

Это была первая неприятность, которую Женни испытала в отцовском доме.

Она попробовала съездить к Лизе. Та встретила ее очень приветливо и радушно, но Женни казалось, что и в этой приветливости нет прежней теплоты и задушевности, которая их связывала целые годы ранней юности.

Женни старалась уверить себя, что это в ней говорит предубеждение, что Лиза точно та же, как и прежде, что это только в силу предубеждения ей кажется, будто даже и Помада изменился.

Она не видала его почти два месяца. Только раз он прискакал в город, точно курьер, с запискою Лизы к Вязмитинову, переменял книги и опять улетел. Даже не присел и не разделся.

– Некогда, некогда, – отвечал он на приглашение Женни хоть съесть что-нибудь и обогреться.

Даже к доктору не зашел.

«В самом деле, может быть, что-нибудь спешное», – подумала тогда Женни и не обратила на это никакого внимания.

¹⁰ Однообразие (*лат.*).

Зато теперь, встретив Помаду у одинокой Лизы, она нашла, что он как-то будто вышел из своей всегдашней колеи. Во всех его движениях замечалась при Лизе какая-то живость и несколько смешная суетливость. Взошел смелой, но тревожной поступью, поздоровался с Женни и сейчас же начал доклад, что он прочел Милля и сделал отметки.

– Вот место замечательное, – начал он, положив перед Лизою книжку, и, указывая костяным ножом на открытую страницу, заслонив ладонью рот, читал через Лизино плечо: «В каждой цивилизованной стране число людей, занятых убыточными производствами или ничем не занятым, составляет, конечно, пропорцию более чем в двадцать процентов сравнительно с числом хлебопашцев». Четыреста двадцать четвертая страница, – закончил он, закрывая книгу, которую Лиза тотчас же взяла у него и стала молча перелистывать.

Помада опять бросился к кучке принесенных им книг и, открыв «Русский вестник», говорил:

– А тут вот...

Помада тревожно взглянул на не обращающую на него никакого внимания Лизу и затих. Потом, дождавшись, как она отбросила перелистываемую ею книгу, опять начал:

– А тут вот в «Русском вестнике» какой драгоценный вывод в одной статье.

«Статистика в Англии доказывает, что пьяниц женщин в пять раз менее, чем мужчин. Вообще так приходится:

Один пьяница на семьдесят четыре мужчины.

Одна на четыреста тридцать четыре женщины.

Один на сто сорок пять жителей обою пола».

– Преинтересный вывод! – воскликнул Помада и продолжал читать далее: «Отношение, замечательно совпадающее с отношением, существующим между преступниками обоих полов, по которому мужеских преступников ровно *в пять раз более женских*».

– Замечательный вывод! – опять воскликнул Помада, окинув взором всех присутствовавших и остановив его на Лизе.

– Отложите мне, я это буду читать, – небрежно проговорила Лиза.

– Все-то уже, прости господи, пересчитали; оттого-то, видно, уже скоро и считать нечего станет, – произнесла кропотливо Абрамовна, убирая свою работу и отправляясь накрывать на стол.

За обед Помада сел, как семьянин. И за столом и после стола до самой ночи он чего-то постоянно тревожился, бросался и суетливо оглядывался, чем бы и как услужить Лизе. То он наливал ей воды, то подавал скамейку или, как только она сходила с одного места и садилась на другое, он переносил за нею ее платок, книгу и костяной ножик.

Женни несколько раз хотелось улыбнуться, глядя на это пажеское служение Помады, но эта охота у нее пропадала тотчас, как только она взглядывала на серьезное лицо Лизы и болезненно тревожную внимательность кандидата к каждому движению ее сдвинутых бровей.

Женни осталась ночевать. Вечером все спокойно уселись на оттоманах в бахаревском кабинете.

Тут же сидела и Абрамовна. Убрав чай, она надела себе на нос большие очки, достала из шкафа толстый моток ниток и, надев его на свои старческие колени, начала разматывать.

Моток беспрестанно соскакивал, как только старуха чуть-чуть неловко дергала нитку.

– О, прах тебя побери! – восклицала Абрамовна каждый раз после такого казуса.

– Тебе неловко, няня? – спросила Женни.

– Какая тут ловкость, моя красавица! – отвечала, сердясь, старуха, – ничего нет, ни моталки, ничего, ничего. Заехали в вир-болото, да и куликуем.

– Дай я тебе подержу.

– Ну что, вздор! И так размотаю. Не к спеху дело, не к смерти грех.

– Полно, няня, церемониться, давай, – перебила Женни, чувствуя, что ей самой нечего делать, и, севши против старухи, взяла моток на свои руки.

В одиннадцать часов Лиза сказала:

– Поесть бы нужно, няня.

Няня молча вышла и принесла два очищенные копченые рыба и масленку с сливочным маслом.

– Огурца нет, няня?

– Нету, сударыня, не принесла.

– А нельзя принести?

– Будить-то теперь бабу, да в погреб-то посылать.

Помада вскочил и взялся за свою неизменную фуражку.

– Куда вы? – спросила, надвинув брови, Лиза.

– К себе; я сейчас от себя принесу.

– Сделайте одолжение, успокойтесь; никто вас не просит о такой любезности.

Помада сконфузился, но беспрекословно повиновался и положил фуражку.

Тотчас после закуски он стал прощаться. Женни подала Помаде руку, а Лиза на его поклон только сухо проговорила:

– Прощайте.

Помада вышел. В эти минуты в нем было что-то страдальческое, и Женни очень не понравилось, как Лиза с ним обращается.

– Что, ты им недовольна за что-нибудь? – спросила она.

– Нисколько. Отчего это тебе показалось?

– Да что за пренебрежение такое в обращении?

– Никакого пренебрежения нет: обращаюсь просто, как со всеми. Ты меня извинишь, Женни, я хочу дочитать книгу, чтобы завтра ее с тобой отправить к Вязмитинову, а то нарочно посылать придется, – сказала Лиза, укладываясь спать и ставя возле себя стул со свечкой и книгой.

– Пожалуйста, читай, – отвечала спокойно Женни, но в душе ей это показалось очень обидно.

Девушки легли на одной оттоманке, голова к голове, а старуха напротив, на другом оттомане.

Она долго молилась перед образом. Женни лежала молча и думала; Лиза читала. Абрамовна стояла на коленях. В комнате было только слышно, как шелестили листы.

– Что это, матушка! опять за свои книжечки по ночам берешься? Видно таки хочется ослепнуть, – заворчала на Лизу старуха, окончив свою долгую вечернюю молитву. – Спать не хочешь, – продолжала она, – так хоть бы подруги-то постыдилась! В кои-то веки она к тебе приехала, а ты при ней чтением занимаешься.

– Перестань, няня: я у Женни просила извинения. Мне надо кончить книгу.

– Ну как не надо! Очень надобность большая, – к спеху ведь. Не все еще переглодала. Еще поищи по углам; не завалилась ли еще где какая... Ни дать ни взять фараонская мышь, – что ни попадет – все сгложет.

– Ах, как это, наконец, скучно! Терпенья нет! – сказала Лиза, сделав движение и швырнув на колени книгу; но тотчас же взяла ее снова и продолжала читать.

Далеко за полночь читала Лиза; няня крепко спала; Женни, подложив розовый локоток под голову, думала о Лизе, о матери, об отце, о детских годах, и опять о Лизе, и о теперешней перемене в ее характере.

«Неужто она не добрая, – думала Женни, – неужто я в ней ошибалась?»

И Женни сейчас же гнала от себя прочь эту мысль.

«Нет, – решила она, – это случайность; она все такая же и любит меня...» «А странно, – размышляла Женни далее – разве можно забыть человека для книги? Нельзя. Я бы этого никак не могла». – «Не для книги, не для бумажной книги, а для живой, всемогущей, творческой мысли, для неугасимой жажды света и правды; для них уне есть человеку погибнуть», – говорил ей другой голос. «Да, но разве это необходимо? разве это даже нужно? Разве искание света и правды становится труднее с сердцем, согретым животворною теплотою взаимности и сочувствия?..»

– Что, наш «прах» спит? – прошептала Лиза.

Веселое, что-то прежнее звучало Женни в этом шепоте.

Гловацкая вскинула головку, а Лиза, облокотясь на подушку, держит у рта пальчик и другою рукою грозит ей, указывая на спящую старуху.

– Спит, думаешь? – еще тише спросила Лиза.

– Да, наверно.

– Давай покурим.

– Я уже совсем отвыкла, но давай покурю.

Лиза встала в одной рубашке, подошла неслышными шагами к висевшему на гвозде платью, вынула оттуда пачку с папиросами и зажгла себе одну, а другую подала Женни.

– Зачем ты не куришь при ней? – прошептала Женни.

– Помилуй! начнет прибираться, «прах» да «распрах», и конца нет.

– А добрая старуха.

– Добрейшая, но чудиха ужасная. Я ее иногда злю.

– Зачем ты это делаешь? Нехорошо.

– Ведь она не сердится, – прахов мне насулит, и только.

Лиза весело засмеялась тем беззвучным смехом, которым женщины умеют смеяться, обманывая ворчливую мать или ревнивого мужа.

Девушки лежали, облокотясь на подушки друг против друга, и докуривали папироски. Женни внимательно глядела в умненькие глаза Лизы, смотревшие теперь, как глаза ручной птицы, и в ее веселенькое личико, беспрестанно складывавшееся в невинную улыбку над обманутой старушкой.

Наконец оба лица стали серьезнее, и девушки долго молча смотрели друг на друга.

– Что ты так смотришь, Женька? – спросила, вздохнув, Лиза.

«Я хотела тебя спросить, зачем ты стала меня чуждаться?» – собиралась было сказать Гловацкая, обрадованная добрым расположением Лизы, но прежде чем она успела выговорить вопрос, возникший в ее головке, Лиза погасила о подсвечник докуренную папироску и молча опустила глаза в книгу.

Перед Гловацкой уже опять не было прежней Лизы, перед нею снова была Лиза, уязвившая ее чистое сердце впервые отверженным без всякой вины чувством.

Женни молча опустила на подушку.

«Говорят, – думала она, стараясь уснуть, – говорят, нельзя определить момента, когда и отчего чувство зарождается, – а можно ли определить, когда и отчего оно гаснет? Приходит... уходит. Дружба придет, а потом уйдет. Всякая привязанность также: придет... уйдет... не удержишь. Одна любовь!.. та уж...» – «придет и уйдет», – отвечал утомленный мозг, решая последний вопрос вовсе не так, как его хотело решить девичье сердце Женни.

Но сердце ее не слыхало этого решения и тихо билось в груди, обещавшей кому-то много-много хорошего, прочного счастья.

Глава двадцать пятая Два внутренние мира

1

Как всегда бывает в жизни, что смирными и тихими людьми занимаются меньше, чем людьми, смело заявляющими о своем существовании, так, кажется, идет и в нашем романе. Мы до сих пор только слегка занимались Женни и гораздо невнимательнее входили в ее жизнь, чем в жизнь Лизы Бахаревой, тогда как она, по плану романа, имеет не меньшее право на наше внимание. Мы должны были в последних главах показать ее обстановку для того, чтобы не возвращаться к прошлому и, не рисуя читателю мелких и неинтересных сцен однообразной уездной жизни, выяснить, при каких декорациях и мотивах спокойная головка Женни доходила до составления себе ясных и совершенно самостоятельных понятий о людях и их деятельности, о себе, о своих силах, о своем призвании и обязанностях, налагаемых на нее долгом в действительном размере ее сил. Наконец, мы должны теперь, хотя на несколько минут, еще ближе подойти к этой нашей героине, потому что, едва знакомые с нею, мы скоро потеряем ее из виду надолго и встретимся с нею уже в иных местах и при иных обстоятельствах.

В своей чересчур скромной обстановке Женни, одна-одинешенька, додумалась до многого. В ней она решила, что ее отец простой, очень честный и очень добрый человек, но не герой, точно так же, как не злодей; что она для него дороже всего на свете и что потому она станет жить только таким образом, чтобы заплатить старику самой теплой любовью за его любовь и осветить его закатывающуюся жизнь. «Все другое на втором плане», – думала Женни.

Уездное общество ей было положительно гадко, и она весьма тщательно старалась избегать всякого с ним сближения, но делала это чрезвычайно осторожно, во-первых, чтобы не огорчить отца, прожившего в этом обществе свой век, а во-вторых, и потому, что терпимость и мягкость были преобладающими чертами ее доброго нрава.

Кружок своих близких людей она тоже понимала. Зарницын ей представлялся добрым, простодушным парнем, с которым можно легко жить в добрых отношениях, но она его находила немножко фразером, немножко лгуном, немножко человеком смешным и до крайности флюгерным. Он ей ни разу не приснился ночью, и она никогда не подумала, какое впечатление он произвел бы на нее, сидя с нею tête-a-tête¹¹ за ее утренним чаем.

Дьякона Александровского и его хорошенькую жену Женни считала очень добрыми людьми, и ей было бы больно всякое их несчастье.

Доктора она отличала от многих. Никто из близких уездных знакомых не рисовался так часто над туманной пеленою луга. Говорят, подлость есть сила. Надо прибавить: скандал тоже есть сила. Особенно скандал известного рода есть сила у женщин, и притом у самых лучших, у самых теплых женщин. Доктор был кругом оскандализирован. В него метали грязью и плуты и дураки, среди которых он грызся с судьбою. Его не упрекали темными деяниями по службе. Он постоянно сам рассказывал, что ему без взяток прожить нельзя, но не из этих взяток свивался кнут, которым хлестала его уездная мораль. Напротив, и исправник, и судья, и городничий, и эскадронный командир находили, что Розанов «тонлр», чту выражало некоторую, так сказать, пренебрежительность доктора к благам мира сего и неприятную для многих его разборчивость на *род* взятки. Доктор брал десятую часть того, что он мог бы взять на своем месте, и не шел в стачки там, где другим было нужно покрыть его медицинской подписью свою юриди-

¹¹ Наедине (*франц.*).

чески-административную неправду. Мстили ему более собственно за эту строптивую черту его характера, но поставить ее в прямую вину доктору и ею бить его по чем ни попало было невозможно. Один чиновный чудак повел семью голодать на литературном запощеванье и изобразил «Полицию вне полиции»; надворный советник Щедрин начал рассказывать такие вещи, что снова прошел слух, будто бы народился антихрист и «действует в советницком чине». По газетам и другим журналам закопошились обличители. Неловко было старым взяточникам и обиралам в такое время открыто говорить доктору, что ты подлец да то, что ты не с нами, и мы тебе дадим почувствовать.

Нужно было стегать доктора другим кнутом, и кнут этот не замедлили свить нежные, женские ручки слабонервных уездных барынь и барышень, и тонкие, гнуткие ремешки для него выкроила не менее нежная ручка нимфообразной дочери купца Тихонина. Эта слабонервная девица, возложившая в первый же год по приезде доктора в город честный венец на главу его, на третий день после свадьбы пожаловалась на него своему отцу, на четвертый – замужней сестре, а на пятый – жене уездного казначея, оделявшего каждое первое число пенсионом всех чиновных вдовушек города, и пономарю Ефиму, раскачивавшему каждое воскресенье железный язык громогласного соборного колокола.

Дивное было творение божие эта Оля Тихонина.

Дивно оно для нас тем более, что все ее видали в последнее время в Москве, Сумах, Петербурге, Белеве и Одессе, но никто, даже сам Островский, катаясь по темному Царству, не заметил Оли Тихониной и не срисовал ее в свой бесценный, мастерской альбом.

Во время благопотребное, тоже не здесь и не при здешней обстановке, мы встретимся с этим простодушно-подлым типом нашей цивилизации, а теперь не станем на нем останавливаться и пойдем далее.

Женни знала, что доктор очень несчастен в своей семейной жизни. Она знала, что его винят только в двух пороках: в склонности к разгулу и в каком-то неделикатном обращении с женою. Она знала также, что все это идет о нем из его же спальни. Она знала, наконец, что доктор страстно, нежно и беспредельно любит свою пятилетнюю дочь и по первому мягкому слову все прощает своей жене, забывая всю дрянь и нечисть, которую она подняла на него. Женни видела, что он умен, горяч сердцем, искренен до дерзости, и она его искренно жалела.

«Может ли быть, – думала она, глядя на поле, засеянное чечевицей, – чтобы добрая, разумная женщина не сделала его на целый век таким, каким он сидит передо мною? Не может быть этого. – А пьянство?.. Да другие еще более его пьют... И разве женщина, если захочет, не заменит собою вина? Хмель – забвение: около женщины еще легче забываться».

Иголка все щелкала и щелкала в руках Женни, когда она, размышляя о докторе, решала, что ей более всего жаль его, что такого человека воскресить и приподнять для более трезвой жизни было бы отличной целью для женщины.

И Женни дружилась с доктором и искренно сожалела о его печальной судьбе, которой, по ее мнению, помочь уж было невозможно.

«И зачем он женился?» – с неудовольствием и упреком думала Женни, быстро дергая вверх и вниз свою стальную иглолку.

Вязмитинова она очень уважала и не видела в нем ни одной слабости, ни одного порока. В ее глазах это был человек, каким, по ее мнению, следовало быть человеку.

Ее пленяли и Гретхен, и пушкинская Татьяна, и мать Гракхов, и та женщина, кормящая своею грудью отца, для которой она могла служить едва ли не лучшей натурщицей в целом мире.

Она не умела мыслить политически, хотя и сочувствовала Корде и брала в идеалы мать Гракхов.

Ей хотелось, чтобы всем было хорошо.

«Пусть всем хорошо будет».

Вот был ее идеал.

Ну, а как достичь этого скромного желания?

«Жить *каждому* в своем домике», – решила Женни, не заходя далеко и не спрашивая, как бы это отучить род людской от чересчур корыстных притязаний и дать друг другу собственные домики.

А уездные дамы все-таки лгали, называя ее дурочкой.

Она только не знала, что нельзя всем построить собственные домики и безмятежно жить в них, пока двужильный старик Захват Иванович сидит на большой коробье да похваливается, а свободная чело­вечья душа ему молится: научи, мол, меня, батюшка Захват Иванович, как самому мне Захватом стать!

Не говоря о докторе, Вязмитинов больше всех прочих отвечал симпатиям Женни. В нем ей нравилась скромность, спокойствие воззрений на жизнь и сердечное сожаление о людях, лиш­них на пиру жизни, и о людях, ворующих пироги с жизненного пира.

«Скром­ен, разумен и трудолюбив»... – думала Женни.

«Не красавец и не урод», – договаривало ей женское чувство.

А что она думала о Лизе? То есть, что она стала думать в последнее время?

«Лиза умница, – говорила себе Женни, смотря на колыхающийся початник. – Она героиня, она выйдет силой, а я... я...»

Тут мешались Вязмитинов, отец, даже иногда доктор, и вдруг ни с того ни с сего Татьяна и мать Гракхов, Корде и Пелагея с вопросом о соусе, который особенно любил Петр Лукич.

«Вязмитинов много знает, трудится, он живой человек, кругозор его шире, чем кругозор моего отца, и вернее осмотрен, чем кругозор Зарницына», – рассуждала Женни.

А доктор?

«Да ему уж помочь нельзя», – думала она и шла к Пелагее заправлять соус, который особенно любил Петр Лукич, всегда возвращающийся мучеником из своей смотрительской камеры.

«Лиза чу! – размышляла Женни, заправив соус и снова сев под своим окошком, – Лизе все бы это ни на что не годилось, и ничто ее не остановило бы. Она только напрасно думала когда-то, что моя жизнь на что-нибудь ей пригодилась бы».

«Эта жизнь ничем ее не удовлетворила бы и ни от чего ее не избавила бы», – подумала Женни, глядя после своей поездки к Лизе на просвири­ку гусыню, тянувшую из поседелого печатника последнего растительного гренадера.

2

Внутренний мир Лизы совершенно не похож был на мир Женни.

Не было мира в этой душе. Рвалась она на волю, томилась предчувствиями, изнывала в темных шарадах своего и чужого разума.

Мертва казалась ей книга природы; на ее вопросы не давали ей ответа темные люди темного царства.

Она страдала и искала повсюду разгадки для живых, ноющих вопросов, неумолчно вызвавших о скорейшем решении.

Ей тоже хотелось правды. Но этой правды она искала не так, как искала ее Женни.

Она искала мира, когда мира не было в ее костях.

Семья не поняла ее чистых порывов; люди их перетолковывали; друзья старались их усыпить; мать кошек чесала; отец младенчествовал. Все обрывалось, *некуда* было, деться.

Женни не взяла ее к себе по искренней, детской просьбе. «Нельзя», говорила. Мать Агния тоже говорила: «опомнись», а опомниться нужно было там же, в том же вертепе, где кошек чешут и злят регулярными приемами через час по ложке.

Нельзя в таких местах опомниться.

Живых людей по мысли не находилось, и началось беспорядочное чтение.

Выбор недовольных всегда падает на книги протестующие, и чем сдержаннее, чем темнее выражается протест, тем он кажется серьезнее и даже справедливее.

Лиза, от природы нежная, пытливая и впечатлительная, не нашла дома ничего, так ровно ничего, кроме странной, почти детской ласки отца, аристократического внимания тетки и мягкого бичевания от всех прочих членов своей семьи.

Врожденные симпатии еще влекли ее в семью Гловацких, но куда же годились эти мечтания?

Ей хотелось много понимать, учиться.

Ее повезли на балы.

Все это шло против ее желаний.

Она искала сочувствия и нашла это сочувствие в книгах, где личность отвергалась во имя общества и во имя общества освобождалась личность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.